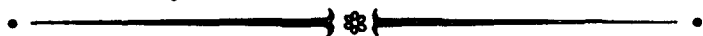




**ВЛАДИМИР
ЩЕРБАКОВ
ТРЕТИЙ ТАЙМ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Серия издается с 1954 года



МОСКВА ~ 1988

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ



ТРЕТИЙ ТАЙМ

*Научно-фантастические рассказы,
повести и легенды*

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ББК 84Р7-4
Щ 61

Художник И. М е л ь н и к о в

Щ $\frac{4801000000-481}{M101(03)-88}$ 380—88

ISBN 5—08—001124—6

© Состав, оформление, новые произведения, отмеченные
в содержании звездочками
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988

Представляя читателю книгу фантастических повестей и рассказов Владимира Щербакова, хотелось бы прежде всего отметить те особенности жанра, которые близки писателю. Фантастика — не только литература. Подлинная фантастика чем-то сродни науке с ее методами исследования реальности. Не беда, что космические проблемы, к примеру, освещаются в художественном произведении по необходимости упрощенно. На этот счет есть крылатое изречение: «Легкость формы не всегда говорит о несерьезном содержании, и, наоборот, наукообразный язык «жрецов» иногда скрывает полное отсутствие мысли». Не помню, кому принадлежит это изречение, но не могу не поддержать его, ибо хорошо известно, что сформулировать мысль не менее трудно, чем, так сказать, уложить ее в скупые строчки формул.

Литература отражает жизнь, фантастика — тоже. Многие фантасты стремятся к предвидению и прогнозированию, а также анализу настоящего. И книга, которую раскрывает читатель, думается, вполне соответствует этим задачам. В повести «Далекая Атлантида» писатель изложил гипотезу о связи гибели мамонтов с глобальным катаклизмом, причем он провел собственные расчеты и получил год катастрофы, примерно соответствующий указаниям Платона.

В романе «Чаша бурь» Владимир Щербаков с позиций математической лингвистики подходит к решению этрусской проблемы (к переводу этрусских надписей). Тут случай особый — этруски до сих пор молчат, подавляющее большинство надписей на этруском не расшифрованы, не переведены, и можно лишь выразить надежду, что писатель приблизился к истине.

Не думаю, что писатели-фантасты заслуживают скидки, когда речь идет о характерах героев, языке произведения и его литературно-художественном уровне. Владимир Щербаков в такой скидке попросту не нуждается.

Несколько слов о повестях и рассказах, составивших эту книгу.

Помимо повести «Далекая Атлантида» в нее вошли лучшие рассказы писателя. Цикл шотландских сказок в книге представляют «Море» и «Фей старого замка».

Я не буду подробно говорить о том или ином произведении, раскрывая тем самым хотя бы частично их замысел и содержание, а ограничусь пожеланиями, адресованными к читателю: внимательно отнестись к гипотезам, изложенным в книге, и с сочувствием -- к тем ее героям, которые этого заслуживают, а таких, к счастью, большинство. Владимир Щербаков — писатель по преимуществу светлый, лирический. Не это ли качество его прозы помогает ему заглядывать в будущее? Предоставляю читателю самостоятельно найти ответ на этот немаловажный вопрос.

*Летчик-космонавт СССР,
профессор К. Феоктистов*

РАССКАЗЫ





КРАСНЫЕ КОНИ

Приклонены травы, примяты цветы — свободно поле. Взвился над ним серебряный голос — трубач чеканил серебро победы. Стыл успокоенный воздух. Пламя ушло в землю. Лишь тлели стальные остовы. Умолкли живые. А губы мертвых прикрыты вороновым крылом, кровь стекла под камни. Встали кони — ноги как струны. Уши их, как паруса, наполнились дыханием всадников.

Изнемогло всемогущее солнце. Уснуло утро. Уснул день. Чистой дорогой красные кони умчались в далекий закат.

Печальна была ночь и тревожна. Зоркими и желтыми рысьими глазами мерцали над нами звезды. Нас грел пепел костра. В теплом воздухе над ним расплывалось лицо Вальцева. Он один из эскадрона остался с нами; руку его перевязала наша сестра, утром он уйдет по следам своих. Умный конь его косил карим оком, прислушиваясь к человеческому разговору; нелегкий путь ему выпадет ранней порой, но легче все же немедленного ночного похода — стремительней, свободнее. Зола костра поднималась облачком, точно черный дождь выскакивали из нее мелкие — летние — картофелинки. Их умещалось на наших ладонях столько же, сколько орехов.

— На моем коне — день пути в любой конец, — сразу на все вопросы отвечал Вальцев. — А упадет конь от шальной пули — и так доберусь. От зари до полудня тридцать километров легко отшагаю, успею к роднику. Воды испив ключевой, отдохну час и к ночи на месте буду. Длиннен летний день — коротка дорога, знаете?.. А умирать не время. Потому что жизнь одна и кончается одной смертью, нет у меня двух жизней. Жалею, что мертвым не смогу стрелять, что шашку не смогу держать, что сердце мое уснет. Сколько, сколько я еще деньков повоювал бы!

.. Вальцев как будто и не спал. Когда меня разбудила рассветная прохлада, он стоял, прислонясь к сосне, задумчиво перебирая клапаны корнета.

— Это вам, лейтенант. Я оставляю вам кавалерийский корнет. Станет жарко — дайте знать, придем на помощь, если будем живы.

— Если вы будете у шоссе или у переправы, то не услышите даже пушечной пальбы. Здесь будет жарко, но...

— Нет, нет, лейтенант, дайте сигнал. Есть мелодия, которая слышна всюду. Исполните ее, вот она...

Он сыграл сигнал. Мелодия была сложной, и он долго и терпеливо показывал мне, как работать с вентилями, как держать инструмент, как постепенно опускать его, так чтобы последний звук слетел точно в сторону горизонта.

— Помните: эта мелодия дойдет до нас, не ошибитесь. Вызывайте нас на заре, когда засветятся облака,— и ни одного неверного звука! Сможете повторить?

Я кивнул, хотя и не совсем понятны были его слова. Но я верил ему, как самому себе.

...Я провожал его взглядом, и он обернулся. Мне запомнились пушистые рыжие усы, доброе лицо и продолговатые большие глаза. Махнул рукой вперед и поскакал, а я смотрел вслед, пока воздух росистого рассвета не растворил движение красного от восхода коня, а потом зеленый туман кустов не скрыл и всадника.

Скоро поднялась паром роса. Неколебим, тих, долгод был иззаоблачный свет. К вечеру тревога разлилась вокруг, овладела полем, приглушила голос травы. На исходе ночи загремела вдали канонада. Но раннему серому облаку рассыпались огнецветные ракетные отблески. Но вот прервался пространный напев орудий. Смолкло эхо.

И тогда всколыхнулась земля перед нами. Тяжело ударили минометы, больно хлестнул горячий вихрь, полчасца овевавший окопы, несший осколки, заставлявший все и вся говорить, моля о пощаде, о тишине. Комья глины летали и ползали, точно шмелн.

Отплескалось море огня, вдаль укатил огнедышащий вал, пришло молчание. Из молчания возник шорох, трепет пробежал по былинкам -- это Тороков уходил на восток, уходил от неминуемой атаки, от пуль, от страха. Я поднял винтовку. Но видел ли он тот амбар у калужской дороги? В этом было все дело.

«Уг-ху, уг-ху!» — зловеще вскричал потревоженный филин и прикрыл глаза мои темными крылами. Или это в голове моей помутилось?.. Пришло воспоминание. Пе-

редо мной была дверь, обитая ржавым железом. Девушка еще дышала, когда свет проник к ее изголовью, а глаза уже гасли, умирали. Долго шел я к ней по земляному полу, хотя нужны были лишь семь мужских шагов. На животе ее горячая спица выжгла надпись: «Очаровательная партизанка Людмила Хлебникова, собственность батальона СС». Сквозь матовую кожу груди и ног проступала татуировка: инициалы, фамилии. В углу амбара тлели угли. Наверное, они привезли ее туда — во всяком случае, в деревне никто не знал ее. Может быть, они долго возили ее с собой. И не раз потом память вела меня по дороге нашего первого зимнего наступления — к калужской деревне.

Так помнил ли Тороков это имя: Людмила Хлебникова? Несколько мгновений я колебался. Но я был уверен в другом: не мог он забыть старуху с детьми. Они вышли из леса, встречая нас, и на их лицах не было ни слез, ни улыбок. Да, он видел старуху и видел детей. Я прицелился. Выстрел остановил его. Медленно, нехотя упал Тороков в зеленоватый полусумрак. Многажды вызвенит осенний ветер мелодию смерти на его костях, но не будет ему места в песне людей.

Поле оживало. Подняв снайперскую винтовку, я наблюдал: квадраты стальных граней тяжелыми каплями ртути вливались в ее прицел — танки. Маячили, покачиваясь на ходу, их панцири; поднимались и опускались пушки — циклопы глаза; гусеницы — крокодилы зубы — жевали землю. За танками шли автоматчики.

Крикнул я:

— Забелло! Посмотри, брат, какая сила идет на нас!

Молчание. Еще раз услышал я свой голос точно со стороны:

— Забелло, Забелло! Не твой ли пулемет был так говорлив? Помоги врага встретить, пехоту отсечь!

Молчал окоп. Спал Забелло крепким сном. Не снилась ему хата под высоким тополем, отлетела от него память о давних днях. Быстрая трава сквозь пальцы его прорастала. Вековечен был его сон.

Снова крикнул я:

— Калинин! Послушай, как осторожно ползут танки. Боятся нас, хоть и прибыло паучьего полку крестовиков... Что ж, Валя, ни словечка не вымолвишь? Или спишь?

Глух был окоп, сиротлив. Упал Малинин и перед смертью нечаянно уронил винтовку. Не слетит больше с его губ заветное имя, написанное на прикладе.

Надя, Наденька из Беломорска! Не видать тебе милого дроли, залетки твоего сероглазого. Не скажешь порой осенней поутру:

«Ласточка перелетная, отнеси приветное слово ладе дорогому, ягодинке моему. Пусть не остынет его сердце, не устанут в бою руки».

Скажешь:

«Белые лебеди! Оброните перышко — прикрыть губы залетке моему. Гусек серый, казарка пролетная! Дай перышко на дролину могилу — прикрыть глаза ему».

Скажешь раным-рано:

«Хочу видеть милого залетку, сама упокоить его хочу. Да не видеть мне его и мертвым. Ветер-батюшка, встер-северик! Возьми слезы, возьми подарки птиц пролетных, омой лицо его. Прикрой глаза и губы его, упокой его. Отнеси, ветер, прощальное слово милому залетке».

...В другую сторону поля обратился я:

— Бафанов! Жив ли? Видишь ли силу грозную? Во-истину равным будет бой. Много уж мы и так земли одолжили друзьям незванным. Пора их встретить достойно.

Откликнулся Бафанов:

— Не дали минометы сон досмотреть. Передохну с минуту. Возьми на себя, лейтенант, головной танк. А уж другие оставь мне и Камальдинову. Есть у нас и гранаты, есть и дорогой гостинец для стальных пауков — противотанковое ружье.

Глухой голос был у него. Догадался я: ранен Бафанов. И подумал: «Держись, держись, не дай ружью овдоветь. Знали мы и лучшую долю, и тихие ночи давней весны — ушло все, как брага из корца, унесло военными ветрами минувшего года, как листья убитого пулями клена. Никто не рожден для смерти. Никто не рожден и для неволи».

Уж павшие звали к победе. Не мучило никого сомнение, легок был бой. Задышал его горн. Застучало танковое огниво. Ударили молотки пуль по стальным наковальням. Небо скрылось под дымным саваном. Угасли зеленые костры деревьев, зажглась высокая лампада — танковый факел. Явилась победа.

...Настал час размышлений. «Корнет, подарок Вальцева, что он такое? — думал я. — Не пора ли испытать его силу?» «Вызывайте нас на заре, когда засветятся облака...» — это были слова Вальцева, и я старался проникнуть в их смысл. Не беспредельна цена человеческой жизни. Мы не смогли бы, пожалуй, удержать подступы к сиреневому шоссе, слишком мало нас осталось. Жаль, но я ничего не мог поделать: наши жизни, вместе взятые, стоили уже меньше, чем прорыв противника в тыл частей, перекрывших узкую ленту асфальта. А дороги — горло войны.

Вот почему ночью я не расставался мыслью с корнетом; моя щека грела его металл. Могла помешать стрельба, и я решил повторить мелодию несколько раз, чтобы они услышали. Но не представлял я, как это случится — при расстоянии за сорок километров. «На заре, когда засветятся облака...» — повторял я. И странная мысль овладевала мной. Захотелось представить, как выглядит шоссе сверху, увидеть дорогу для нас сиреневую полосу, бегущую через поля, где подрагивал донник, а травы ложились под ноги до самых горизонтов, через леса и синие волны холмов, окаймленные стрелами сосен и елей, а южнее — светлыми кострами кленов. Еще южнее и западнее вспыхивали, извивались и росли цветы огня, блеклые цветы дыма. Но можно ли и в самом деле увидеть шоссе? Да, нужно повернуть лучи к земле. Ведь воздух — это увеличительное стекло, призма, заставляющая иногда свет сначала подняться, а потом опуститься где-то привидением, миражем. А звук?..

Высветилась пряха облаков. «Пора, — подумал я, — пора!» В моих руках заговорил серебряным голосом кавалерийский корнет. В заоблачный край, в синие синевы ушел зыбкий трепет — запевками, заклинаниями, не понятыми мной заклятиями. Я поднимал и опускал корнет, мелодия кончилась — я замер. Отозвалось эхо. «Вот оно что, — подумал я, — звуки идут разными путями — отражаются от деревьев, земли и возносятся к облакам; в верхнем, нагретом солнцем слое воздуха они поворачивают, опускаются, далеко-далеко падают вниз, собираясь воедино. Так линза собирает тепло — и плавится металл. Из камней, кирпича возводится руками каменщиков дом, песчинки растят гору, из отдельных звуков

возникает громкий всплеск. Длиннее мелодия, больше звуков-песчинок — выше гора. Само солнце, нагревая воздух, складывает из кусочков мелодии сигнал тревоги».

Но для этого нужно точно рассчитать рисунок звуковых волн, их узор, познать движение ветров, взлет зари и отлить их в сплав звучаний. Иначе волны не усилят друг друга, не сложатся, а, наоборот, погасят сами себя. Теперь я не только верил, но, кажется, начинал понимать... Да, соединить волны нелегко. Даже на море не поднимаются они выше девятого вала. Но волны воздуха почти свободны от гравитации — они легки, даже невесомы. Мелодия же, ключ к разгадке, может быть, лишь слышимость утренней ясности, звукопись солнечных бликов, отклик чувства на них.

...Где ж твои всадники, земля полей? Где кони, лёт которых над зеленым краем твоим быстрее голоса птичьего? Увидеть ли нам вас, услышать ли, как расплещется под копытами студёный ручей? Или высохнет он прежде, а окопы, пахнувшие травяной влагой и солдатским телом, станут нам могилой — желаннее могил в других местах? А дух солдатский будет жить и жить под светильником неба — сама смерть станет оружием, предвестником вашей победы!

Звонкий тонкий металл, легкие вентили, серебристый мундштук. Ясным голосом пел в моих руках кавалерийский корнет. «Оэй! — вторило эхо. — Оэй!»

Милый Вальцев! Не ждал я его так скоро, да и ждал ли вообще? А он расседлал коня, пошел мне навстречу, и впору было сказать: «Сколько лет...», хотя и виделись мы совсем как будто недавно. Усы его стали зеленоватыми от пыли, поблекли синие погоны.

- Ты один? — спросил я, тотчас осознав неуместность вопроса.

— Нас двое, — ответил он, — ты забыл про моего коня.

Он долго черпал здоровой рукой воду из помятого закопченного ведерка и плескался над седым сосновым корнем, смывая с лица зеленую пыль. Новости, привезенные им, были печальнее наших: у переправы в схватке с горными стрелками ранен командир эскадрона лейтенант Лён и убиты двадцать семь человек.

Но Лён все же послал его к нам и передал, что будет помощь, если станет легче. Эскадрон сдерживал противника вместе с другими частями. Я знал твердо: трудно рассчитывать на то, что станет легче. За нашими плечами — Воронеж, южнее и восточнее — Сталинград, Волга, Урал...

Вальцев рассказывал:

— Войну начинал пулеметчиком на тачанке. Коней любил всегда, хотя родился не на Дону и не на Кубани. Мальчишкой ходил в ночное. Потом — рабфак в Калуге, институт в Москве, война...

Постепенно время сжималось, настоящее смыкалось с прошлым, словно и не расставался я с ним, а наше знакомство отодвигалось все дальше, в давние дни.

— В Калуге осталась у меня и девушка, да не знаю, где она сейчас.

Вальцев умолкает и, закинув руку назад, обхватывает ладонью ствол сосны. Но что это? В его глазах я точно вижу отражение других глаз. Нет, это невозможно, и все-таки я спрашиваю:

— Как зовут твою девушку, Сережа?

— Люда. Людмила Хлебникова.

Я отвожу взгляд. Как хорошо, что он не может читать мои мысли так же, как я его. Этого не было, твержу я, не было амбара на калужской дороге, а сам чувствую, как кровь бьется в висках, и я хочу укрыться от его глаз в темноту вечера.

...Еще одна ночь отошла на запад. Медленно, устало занималась заря, да не успела раскрыться, выстлаться кумачовой скатертью — облачные перья разлетелись по небу, заспешили прикрыть кумач и край золотого блюда.

«Быть, быть празднику!» --- сказал голубой орудийный залп. «О-о! — проснулось эхо. — О-ох!»

Мы встречали день выстрелами, пулеметными очередями. По нас с правильными интервалами били пушки. Залегла и вновь поднялась пехота, зародилось движение боя. Вальцев сменил Забелло, их пулемет жил, не остывал, а Бафанов смолк. Жив ли Бафанов? Я с тревогой думал о нем. Вскоре слышен стал его голос:

— Ослеп я, лейтенант. Огонь глаза мои выжег. Не увижу я больше неприятеля. Возьми на себя три танка, остальные я встречу. Сестрица прицел установит, есть

у нас гранаты, есть и дорогой гостинец для стальных пауков — противотанковое ружье.

Нежданная пуля нашла и меня. Вот и на моей груди расцвел кровавый цветок; видно, относил я гимнастерку. Качнулся, зашевелился надо мной прохладный пепел. Я прижал к ране ладонь, сел. Варя перевязала рану, я не умер: слышал перестрелку, видел следы пуль на листьях, знал, как бежало по холмам, по лесам сиреневое шоссе. Мы были еще живы, а они отходили...

Вальцев, тоже раненный, склонился ко мне, и я понял: он догадался. В его глазах был вопрос: «Ты видел ее?» Я ответил: «Да, видел». «Вот и все, он не попросит рассказать, — подумал я, — такими, как он, движет чувство правды — это выше мести. Но что такое чувство правды, когда оно приходит? Наверное, когда в душе сливается воедино все человеческое. Как звуки мелодии, которую ему удалось подобрать».

Я хотел спросить, как он нашел ее, но передумал. Попробуйте спросить, как приходят песни. Ответом будет улыбка, потому что это тайна. Я протянул ему корнет и сказал только:

— Сегодня мы живы, а завтра?... Пусть услышит Лён и другие, что мы победили. Передай привет храброму Лёну.

В последний раз возвысился над нами ясный серебряный голос, и казалось: звучащая явь подсказывала слова.

«Мы не всегда были мертвыми — мы были живыми!» — пел корнет.

«...живыми», — сказала эхо.

«Мы пали за свободу!» — пел корнет.

«...за свободу!» — сказала эхо.

Милый Вальцев! Прекрасна вещая песня, оставленная тобой, вечны ее слова.

...Легко ли умереть, не увидев ясного лика земли? Ведь шевелились еще хвосты дыма, свет стоял багровыми столбами, лощина выгорела, мята высохла, птицы смолкли. Уснул красный конь. Кровь же была горяча и жгла сердце. Я чуть было не изверился, но скоро все переменилось. Пришла прозрачная ночь; проросли, открылись голубые цветы звезд. Поднялась первая чистая заря. Три чистых зари — три алые птицы взлетали над нами. Перед четвертой мы стали камнями и травой, мы стали песней.

Вот и река. С матово-зеленого закатного неба в ее темное зеркало уже упала первая звезда. Я сразу узнаю заводь, где мы купались в июне, где сейчас пахнет мятой, а тростник дремлет от безветрия. В нескольких сотнях метров от воды — минные поля, блиндажи, пулеметы, окопы. И на чужом и на нашем берегу. Фронт недвижим, он застыл. Граница проходит здесь, по Ловати, и не первый уж месяц. Пока я был в госпитале, ничто не изменилось. За моей спиной, в реденьком, полупрозрачном леске скорее угадывается, чем слышится негромкая песня. Там мои товарищи. Только Наденьки нет: она теперь в отдельном стрелковом батальоне, который держит оборону километрах в двадцати к северу от нас.

С ней успел я узнать, как тепло воздуха в часы звезд пряталось в древесные стволы. И почему ни зорями чистыми, ни светлыми ясными днями не куковала кукушка (в июне она «ячменным колоском подавилась»); и что говорили сердцу ландыши, васильки, цветы ржи. Дважды опускались и сходили росы над желто-синими берегами Ловати-реки, дважды гладь ее расплескалась под нашими ладонями голубыми брызгами звезд. Дважды на плечи к нам слетало золотистое утро. Не было третьего утра, третьей ночи, видно, много уж и так дано было тишины и покоя под дулами немецких пулеметов.

Далекий июнь. Две ночи. Память не сольет их воедино.

...Я вхожу в воду бесшумно и быстро. Наденька уже в реке: темное крыло волос прикрыло ее плечи, зыбкая волна блеснула под щекой. Мы ныряем с открытыми глазами, и звезды дрожат, как над костром; пряди их лучей не так-то просто собрать в прямые пучки. Нет в помине кузнечиков, кликавших свет в легкой мерцающей полутьме надводного мира. На дне звенит песок (интересно, слышно ли в воде стрельбу?).

Ласков, упруг серебряный ток чистых струй от наших рук. Кто вынырнет последним? Лунно-белая струя сбегает с моих плеч. Наденьке я проигрываю целую минуту. Не так уж много, казалось бы, но если учесть, что среди моих

сверстников во всем Осташкове не было равных мне в этом виде состязаний...

Впрочем, Наденька — девушка необычная. Она снайпер, окончила специальную школу. Но дело даже не в этом, потому что во вторую ночь...

— ...Смотри на берег! Видишь? Может быть, ты думаешь, что это от ветра?

Ничего особенного я не замечаю. Берег как берег. Ветра нет совсем.

— Смотри внимательно. Еще раз.

Наденька поправляет волосы быстрыми, неуловимыми движениями. Ее руки всплеснулись над глянцем воды, волосы сбросили капли, улеглись за спиной.

— Да ты за берегом наблюдай, за тростником! — говорит Наденька.

И тогда я наконец вижу: тростник качается, шелестит. Воздух неподвижен, трава повторяет движения ее рук, волос.

— Еще? — спрашивает она.

Я киваю.

Только что тростник был недвижим, но стоило ей прикоснуться к волосам — по воде разбежались блики из-под проснувшихся полутеней. Она опускает руки — медленно, устало... Тростник успокаивается, шелестит.

— Как же это у тебя получается?

Наденька в ответ улыбается. А может быть, просто внимательно смотрит на меня. У нее очень большие темные глаза, но где-то в их глубине живет и живет улыбка, прозрачная веселость.

— Это шутка, — говорит она. — Хочешь что-нибудь по-серьезнее?.. Я разбужу сейчас птицу.

Дрогнули ее губы, чуть-чуть, почти незаметно, точно слово должно было слететь с них, да так и не слетело, застыло — невысказанное, волшебное. Сошлись брови, глаза стали продолговатыми, внимательными, но и в них светилось то же желание, что не успело с губ слететь, обернувшись словом. Миг один, звезда дрогнуть не успела, а из-под двух сонных берез вырвалась птица, пулей пронзив раkitник в низком шальном полете.

— Вот и птица, — говорит Наденька, — только не спрашивай, как это у меня получается. Словами разве пере-

дашь?.. О живом нужно уметь думать не так, как обо всем остальном, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

Хотя я и читал про биологическую радиосвязь (и сам был до войны студентом третьего курса физфака, знал, что любой мускул излучает радиоволны), я действительно ничего не понимаю.

— И я тоже, — сознается она. — Уметь легче, чем знать и объяснять. Бывают минуты, когда кажется, что все можешь.

...Открылось утро, точно невидимая птица приподняла темно-голубые крылья. Ушли звезды. Вставал ясный зеленый день. Очередь с чужого берега хлестнула по воде, прошила тростник. Пуля прошла сквозь мое плечо.

Я не успел даже спросить ее, откуда она явилась...

Два месяца в госпитале — это как сон. Наши палаты были уютны и постылы; в последние дни можно и нужно было бы убежать. И так медленно текло время! А под Курском и Орлом уж гремели залпы, которым не разбудить было вечной, казалось, тишины у нас. Особенно вечерами, когда в белом северном небе застывали перья облаков, приходили долгие часы размышлений, уносимых потом в сны-мечты. (Над Ловатью вечерами опускалась совсем другая тишина — вольная, тревожная.)

Впрочем, до глубокой ночи очень часто нас удерживала карта-схема Курско-Орловского района, которую капитан Дроздов нарисовал сам в таком масштабе, что она занимала весь бильярдный стол. Капитан стоял у карты, опираясь на костыли, и показывал, где прочертить стрелки, где обвести кружочками населенные пункты, отбитые у немцев. И нам чудились миллионы залпов, слившиеся в зарницы над русоволосыми солдатскими головами, над зелеными шлемами танков, плывших по земле. Увидеть бы эту землю; ожегши щеки, опалив брови, увидеть хоть бы пламя над ней, идти бы по бесконечным полям, лишь бы за спиной побольше оставалось этой земли...

— По-иному воюем теперь, — сказал как-то Дроздов. — Раньше, бывало, думали: откуда сила такая у немца, кто ж его остановит и когда? А начали вот с открытыми глазами действовать. Правильно я говорю?

С вопросом он обратился ко мне, но именно в эту-то минуту я задумался о другом.

Ловать-река, синие берега...

Днем позже я рассказал Дроздову о Наденьке, не назвав ее по имени. Память моя была золотым мостом в странные, далекие ночи. Тростник, теплый песок, серебряная от светлого неба и звездной пыли вода в заводи; птица — та, Наденькина птица... Дроздов, выслушав меня, сказал, что все это вздор.

Стал ли я думать о Наденьке реже? Нет, наверное. Человек бывает разным. Так уж получилось, что в долгие дни — в сушь, а чаще в дожди, когда в лугах нестерпимо синели цветы, а своды церквушки медленно летели под казавшимися неподвижными облаками, — я становился другим. Воспоминания сделались частью меня самого, они то высвечивались вдруг в моей голове с несказанной ясностью, то гасли на время, точно засыпая.

Мокрые свежие колокольчики мы дарили Женечке Спасской, которая ухаживала за нами в госпитале. Сероглазая и стройная, она была такой красивой, что влюбляться в нее не имело смысла. Но осталось видение женских глаз, их доброта и строгость, реже — лукавство, но главное — доброта, которую потом учишься замечать в других глазах, в другие годы. А перед ней ведь, и робея и восхищаясь, часто и назойливо возникали две совсем неважные фигуры в больничных халатах — инвалид на костылях и двадцатилетний мальчик с ненужно большой охапкой мокрых синих цветов...

Однажды, когда мы играли с Дроздовым в шахматы, я спросил его:

— Глеб Валентинович, вы когда-нибудь видели тростник? Только при очень легком ветре.

— Кажется, да. А что?

— Вопрос простой: почему качаются стебли? Не гнутся, заметьте, не приклоняются к воде, а качаются. Даже при слабом, постоянном ветре.

— Ну и почему же?

— Не знаю. Но кажется, они похожи на маятник. Только ведь вот подвесьте обычный маятник у открытой форточки — и не будет ничего такого...

— Маятники разные есть. Маятник Фроуда раскачивается даже без толчков, нужно только повесить груз на

вращающуюся ось. Это совсем обычный маятник, груз — блюдце, только наверху кольцо, и продето оно в стержень, а тот крутится. И с постоянной скоростью притом... Что, к своим захотелось? На Ловать-реку, а?

Он еще спрашивал. Только вот слово «свои» звучало как-то еще не совсем привычно. Свои... Да нет. Так, пожалуй. Все свои, даже те, кого я недолюбливал.

...Кто-то рассказал мне о записке, приколотой булавкой к стволу березы у околицы. На неизвестной мне, но своей дороге, у неизвестного, но своего села девичья, своя рука оставила листок из ученической тетрадки: «Дорогие бойцы! Нас гонят в рабство. Спасите». Тогда, в госпитале, я еще не знал, что все бойцы моей части — и Женя Спасская, и раненые в госпитале, и военный инженер капитан Дроздов — так и останутся своими, близкими людьми, о ком помнить буду всегда. Всегда, хотя раньше «свои» и «близкие» я понимал немного иначе.

В одну из последних моих ночей в госпитале пришел долгий необычный сон. От знакомой лесопилки за дощатым забором ветер нес, казалось, запах смолы, тепло пиленого дерева. По дороге, по которой в детстве мы бегали за малиной на опушку леса — на «малиновую поляну», шли отец и два моих брата. Шла мать, дядя Сергей и другой дядя, Михаил, потом мои одноклассники — Алексин, Климов и другие, — все, кого можно увидеть вместе лишь во сне. У многих лица были белые — у тех, кто был мертв.

Старший брат Юрий и дядя Сергей шли вместе и молчали, они очень похожи, оба рослые и светловолосые, и лица у них белые-белые. Их убили под Ленинградом. За ними шел Саша Алексин, пропавший без вести. Потом мой младший брат Василий, и у него было белое лицо. Он совсем недавно на фронт ушел. Уж мать наша по нем, по милому ее сердцу Васеньке, сколько-сколько слез пролила! Прошел Климов, живой и здоровый, молчаливый.

И вот я увидел Наденьку. Как темны ее волосы, как легка на ней солдатская шинель! Я всматриваюсь в ее лицо. Глаза у нее большие, совсем не грустные, темные и прозрачные, как всегда. Голос ее негромок, как будто себе самой говорит:

«Залетку моего жду. Весточки все нет и нет... Не уберегла его. Мало мы были с ним. Захочет ли разыскать

меня после госпиталя, вспомнит ли? Догадается ли, что жду его, что нет радости желанней, чем свидеться с ним?..»

У нее бледное лицо. Я смотрю и смотрю на него, чтобы получше запомнить. Но тут что-то мешает мне. Я -просыпаюсь. Палата. Утренний свет. Окно. Черный шумливый грузовичок, качнув бортами, резво выбежал за ворота, поднялся на пригорок и, застыв на мгновение и выпустив сизоватое облачко, превратился в тающую тень. Я окончательно просыпаюсь. Летучая пыль, рожденная тремя жаркими днями, обозначила в воздухе след машины, а он вызвал мысль о возвращении в часть. Вскоре меня выписали из госпиталя.

Двадцать километров... Я пройду их за четыре часа. И могу даже быстрее, много быстрее. А найду ли Наденьку?

Все живое и на нашем, и на чужом берегу затаилось, и уже спят желтоспинные окуни, которые и сейчас, в августе, тоже помнят, наверное, июньские ночи. Очень приблизительно, совсем нетвердо (мне и неловко было расспрашивать) могу указать я направление, в котором ушел отдельный стрелковый батальон. В ту сторону текла река, словно указывая верную дорогу. Тростник говорил о скорой осени; днем я слышал, как прозвенел первый желтый лист. Вода же была тепла. Я бы искупался, как прежде, только одному купаться... я подбираю слово: невесело? боязно?..

Не купаться бы мне ночью в Ловати и раньше, если б однажды сама она не подошла ко мне и не сказала:

— Искупаться бы в реке, да днем нельзя, а ночью боюсь одна. Может, присмотрите за мной?

И мы скрылись. Не хрустнула ветка, не качнула светлым свечным языком ночная фиалка. Возникла и пролетела ласковой птицей первая ночь. Как же давно это было!

...Наш комбат был строг и справедлив. Если б не он, очень могло статься, что Наденьке проходу бы не давали — такая она была ладная девушка. Комбат сказал:

— Прекратить. Она нам должна товарищем стать, бойцом. Если надо будет, товарищ Наденька сама разберется, кто чего стоит.

Но никогда — ни в первую, ни во вторую ночь — не говорилось нами слов, подобных тем, которые слышались мне в госпитале, во сне.

«А что, если сейчас пойти берегом? Не приведет ли сама река меня к ней?» — думал я. Трудно, конечно, рассчитывать на это — один шанс из тысячи, что я сразу, сейчас смогу ее разыскать. И все-таки... Странная мысль не покидала меня. Я даже не заметил, как ладонь моя коснулась мокрого песка: я сидел на корточках у самого берега, и мне хотелось почему-то дотронуться до тростника. Меня отделяла от него полоса темной воды шагов в пять шириной.

И тогда я увидел вдруг: тростник качался, шорох был почти неслышен, иначе я обратил бы на это внимание раньше. Высокие тонкие конья как-то дружно гнулись и выпрямлялись, сквозь их колеблющийся строй иногда высвечивались светлые пылинки звезд, упавших в воду. С необыкновенным вниманием пытался я уловить хотя бы малейшее движение воздуха. Иногда мне казалось, что веет легкий ветерок. Минутой позже я убеждался, что вокруг спокойно и тихо — так тихо, как может быть в ясную ночь самого спокойного месяца года — августа. И потом, когда я пришел сегодня к реке, тростник был недвижим. Я же отлично помнил: час назад было так же вот тихо, пахло мятой... Я раздумывал. Совсем недолго. Потом встал и пошел берегом. Я шагал все быстрее и быстрее, пока наконец не побежал. И мне казалось: вот там, за поворотом берега, за выступом раkitника, увижу ее. Ведь я знал, знал, что она была где-то у реки, может быть, так же, как и я, сидела у берега... Потому и шелестел тростник.

Она поправляла волосы! Как раньше. Может быть, она даже догадывалась, что я уже вернулся. Шумела таволга, била по плечам, а я не улавливал ее запаха. Мое время -- до утра, как и тогда, в июне. Лишь чей-то вскрик «стой!», оставшийся за спиной, лишь брызги из-под травы, устлавшей прибрежное болотце, лишь быстрые звуки сломанных веток. Я уверился в неожиданной нелепой мысли. И я -- подумать только! — боялся, что Наденька могла уйти. Сухой сук оставил на моей щеке глубокую кровоточащую царапину, почти рану, а я почувствовал лишь легкое тепло от стекавшей за воротник крови.

Не знаю, сколько прошло времени,— я остановился. Смыл кровь, растянулся на траве, и мне долго не хотелось вставать.

Тот же вопрос лениво, неназойливо всплывал в моей памяти. О маятнике. Ветер раскачивает стебли так же, как постоянное вращение оси — маятник Фроуда. Ведь метелки тростника как бы текут вместе с воздухом, стоит им наклониться — и тогда уж ветер не мешает им снова подняться. Потом опять и листья и метелки становятся поперек невесомому, казалось бы, току воздуха. И снова движение вниз. Потом вверх. Бесконечное движение. Но маятник Фроуда очень чувствительный механизм. Малейшее изменение массы или упругости или самые легкие толчки могут разбудить его или, наоборот, остановить. Дроздов говорил, что сам Жуковский, создатель теории крыла, находил время, чтобы снова и снова возвращаться к загадке маятника Фроуда. Дроздов как-то согласился со мной, что слабые электромагнитные волны могут раскачать маятник, согласен он был и с тем, что человек излучает такие волны, ведь об этом писали уже в двадцатых годах, а вот рассказу моему о тростнике так и не поверил. Да верил ли я сам?.. Почему-то никто не задумывается над тем, отчего качается тростник. Но, по существу, ответа на этот простой вопрос нет. А если трава качается, повторяя движение человеческих пальцев?.. Маятник Фроуда, электромагнитные волны... Нет, трудно было убедить в этом кого бы то ни было. «Возможно ли?» — задавал я себе один и тот же вопрос.

А звезда, которая сегодня вечером первой взошла над лесом, повисла уже надо мной и словно позвала меня побыстрее идти. Я встал. То знакомое многим ощущение, когда руки и ноги от усталости кажутся ватными, постепенно, с каждым новым шагом исчезало. Река опять говорила мне о близкой встрече: едва слышно шептали о ней длинные листья тростника (а ветра не было). В небе уж проступала белая заря, вода становилась синее, дорога была легче, и усталость пропала совсем.

Я сначала угадал Наденьку за пологим далеким поворотом. Потом увидел ее. Потом поверил. Она бежала навстречу. Шинель была накинута на ее плечи, она то-ропливо поправляла волосы одной рукой, другой — застегивала ворот белой рубашки. Все вокруг уже соби-

ралось вдруг по-летнему проснуться. Кажется, звучали уж голоса — смутные, неясные. Вели разговор птицы-невидимки, и рос прерывистый гул самолета над другим берегом, наполнявший предрассветное пространство неизъяснимым предвестием тревоги.

Звонок голос Наденьки:

— Андрей Николаевич, Андрюша! Радость-то какая! Я-то все думала: нет и нет нашего Андрюшеньки. А сегодня вечером уж знала, догадывалась, что ты приехал. Здравствуй, Андрюшенька. Здравствуй!..

Совсем рядом были ее темные, но прозрачные глаза. Мы были уже вместе. Тогда ее и настигла неожиданная пуля с другого берега.

...Пришла осень на берега Ловати-реки. Черная земля прикрылась, чем могла: опавшими листьями, пожухлой травой, намокшей соломой, упавшей в придорожье с воза. Отсветились синим светом берега; серой мглой упали на них легкокрылые зори; осень военная принесла с золотом листьев серебро слез. Наша часть шла на юг, к Белоруссии. Дороги под ногами, под колесами машин были вымощены стволами берез и осин. Кровью заалели ягоды рябины на голых ветвях. Дожди вымыли наши сапоги, и по первому снегу мы двинулись в долгожданный бой. Перед нами лежала прекрасная, но истерзанная войной земля — Белая Русь.

Наполнив гулом обнаженные леса, исковеркав деревья, сжигая дома, оставляя тела на снегу, война постепенно уходила от берегов, где отзвучал Наденькин голос, но где навсегда, казалось, остались следы на песке, которого касались ее ноги.

СТАРАЯ МОСКВА

Рассказ из будущего

Они прошли на площадь и остановились возле Мавзолея. У входа застыл Красноармеец в старом шлеме, с винтовкой в крепко сжатой руке. Мягкие хлопья снега падали на его шинель, на большие ботинки, зашнурованные тесемками.

— Совсем как живой,— тихо сказал Вольд

Они подошли ближе Вверху горели красные звезды Заснеженные сляки прижимались к побелевшим стенам Где то далеко рокотали пневматические поезда и машины, вспыхивали и гасли огни, шумели люди — на тысячах проспектов Новой Москвы Здесь же было тихо Только снег шуршал в синем вечернем воздухе

— Шусс был хорошим архитектором Здесь чувствуется прошедшее столетие — Морера говорил по-русски почти без акцента Он был в Москве проездом в Астроград Завтра они улетали

— Не Шусс, а Щусев,— поправил Вольд, любивший точность

— Этот Мавзолей так прост и строг,— сказал Морера

— Да Вся Старая Москва оставлена как вечный памятник Когда-то по ее просторным улицам и площадям сновали машины и ходили люди, теперь же эти уллицы не вместили бы и сотой части москвичей

— В Риме тоже есть Колизей

— Это совсем не то не так

Было уже поздно Шпили, каменные стены, дальние дома, шатры Никольской и Спасской башен словно растворились в морозном воздухе Только у горизонта, за темными домами светилось зарево — огни Новой Москвы

Они вошли в Мавзолей, шагнули в другое тысячелетие Они остановились перед человеком с усталым лицом и запавшими глазами Казалось, он спал после смертельно большой работы Мягкие волны освещали его лицо, костюм с пуговицами грубой работы, стекла саркофага

Вольд поднял глаза Матовые стены как будто раздвинулись, и он так ясно, так отчетливо увидел людей — солдат в обмотках и рваных шинелях, рабочих, женщин и мужчин Худые, потемневшие лица Вот он, Ленин, среди них — живой, улыбающийся, он разговаривает, шутит, смеется, потом на минуту остается один и, отложив перо, поднимает голову

— Нам пора,— сказал Вольд

У входа в Мавзолей все так же неподвижно стоял Красноармеец

— Он охраняет его,— сказал Морера

— Говорят, Красноармеец появился здесь ночью По

крайней мере, поэт утверждает, что так и было «Красноармеец пришел из Прошлого, чтобы навсегда остаться здесь»

Они медленно отошли от Мавзолея. Начиналась легкая метель.

Ботинки Красноармейца занесло снегом.

Сквозь снежную завесу они долго еще различали его фигуру на фоне старых каменных плит.

ЛАНДЫШИ

За четыре часа Валентина стала привыкать и к голосам, и к молчанию заповедного леса. Она вспомнила, как пробиралась сюда в заповедник, и почувствовала, что краснеет. Щеки ее запылали «Как девчонка», — подумала она. И не оттого стыдно, что ландышей нарвала а отчего?

Она остановилась в раздумье. Заколола волосы. Сдула с блузки выцветший прошлогодний лист. Ландыши, цветок за цветком, ссыпала в кожаную сумочку, осторожно прикрыла ее и щелкнула замком. Минутная передышка. Вверху, высоко высоко, прошелся над кронами ветер. Шелест. Снова легкий порыв — и где-то потревоженное дерево отозвалось скрипом. Взмолнованно вскрикнула птица. И снова тишь.

Может быть, ей лишь казалось, что ему нравились ландыши? «Все равно, — подумала она, — там-то их нет совсем». Она редко задумывалась всерьез о том, что было там. Впрочем, сегодня он расскажет ей. И она увидит ту далекую реальность глазами сына.

«Как это называется? — припомнила она — Трансгрессия, нуль переход?» Именно сегодня, ровно в двадцать часов, ее сын сможет ненадолго появиться дома. Впервые за три года. Потом она увидит его снова лишь спустя пять лет, конечно, ее об этом предупредили заранее.

Разве это не чудо? Их поочередно переносят на Землю. Пусть только на два часа, раз в несколько лет. Сегодня

это произойдет! Можно ли мечтать о лучшем подарке, чем звездное возвращение прямо домой?

...Однажды, давно, он подарил ей ослепительный букет первоцветов, и светлым майским вечером напоминали они о лесных тайнах и лунном серебре на речной воде. (Совсем не странно, что слова, изобретенные на все случаи жизни, забываются скорее.)

Когда она впервые потом услышала его по телеканалу оттуда, ей показалось, что голос его изменился. «Здесь ~~мне~~ снятся ландыши», — сказал он. Потом — молчание. Осталась лишь фраза о ландышах...

А как там? О чем можно узнать из телесеансов? Какая это была планета?

Лик ее бороздили песчаные дюны. Сколько ни всматривайся, ни роши, ни поросшего кустарником склона, ни зеленеющей балки. Сухие нити желтого лишайника прятались под камнями, и пучки их были едва различимы на телеэкране. Ни птичьего гомона, ни плеска воды. Горячее зеленое солнце.

Стаи светлых ядовитых облаков носились над пустыней, цепляясь иногда за багровые пики у горизонта. Сверху, точно по невидимой трубе, устремлялись вниз потоки, взметая пыль и мелкий песок, тогда воздух мерцал и флуоресцировал, а по равнине металась призрачная полутень. Игра зеленых лучей порождала миражи, столь же безотрадные: вверху висела опрокинутая безжизненная долина с рассекавшим ее сухим руслом умершей тысячи лет назад реки или вдруг небо ошетинилось острыми зубцами скал, а между ними темнели пропасти.

Закат окрашивал равнины и горы в желтый цвет: серебристый отлив делал хребты похожими на странных драконов, замерших в ожидании какого-то неведомого сигнала. Пластинки слюды, вкрапленной в камни, превращались в сверкающую чешую, скалы — в устрашающие зубы на хребте и хвосте. Драконы, казалось, просыпались с заходом звезды, чтобы охранять бесчисленные сокровища в недрах планеты: алмазы и золото, платину, серебро и зеленый металл алхимиков — таллий.

Малая часть спрятанных здесь кладов дала возможность построить, создать, запустить гравитационный туннель. Его невидимая колея вела к Земле. По нему бежали импульсы, обгоняя свет, — письма и телеграммы. Мезон-

ная вспышка на миллиардную долю секунды делала туннель похожим на ослепительный жгучий луч, пронзавший звездный купол подобно молнии. Но космический светонесный заряд во столько же раз превосходил по силе грозу, во сколько огненное тело звезды — дождевую тучу.

Говорили, что само путешествие было мгновенным: будто бы едва обозначившаяся тень столь быстро становилась реальностью здесь, на Земле, что ни один прибор ~~не~~ успел бы зарегистрировать скорость такого пре- вращения.

* * *

Алый бархат древесной коры начал тускнеть. Она встрепенулась. Далеко-далеко загрохотало. Неясная тревога вернула ее к действительности. Она испугалась. Но вовсе не приближающейся грозы. Она потеряла тропинку. Теперь, когда невысоко стоявшее солнце скрылось за тучей, лес изменился до неузнаваемости. Она беспомощно оглядывала поляну, на краю которой ее настигли воспоминания о ландышах.

Над лесом туча уже развесила темные крылья.

Хлынул дождь.

У нее был зонтик. Но с ним было неудобно, кусты хлестали, сопротивлялись движению, били по зонтику: густой подлесок не пускал ее; она видела перед собой тусклое мерцание дождевых струй, тяжело бивших по ветвям, слышала, как вода хлопала по листе, и ощущала ее прикосновение. Она сняла туфли, но идти стало не легче. В густом орешнике она окончательно заблудилась, вышла на поляну, просторную и незнакомую. Прислонясь к теп- лому, еще сухому стволу, она стояла так несколько минут, собираясь с мыслями.

Она должна выйти на узкую асфальтированную дорогу, которая делила заповедник пополам. Дальше было бы совсем просто: по дороге она выйдет из леса и за час, от сйлы за полтора доберется до дома. Она взглянула на часы. Сердце ее сжалось. Было около семи вечера. В восемь он будет ждать ее дома.

Валентина сложила ставший бесполезным зонтик и пошла напрямик, наугад. Кофта и юбка были насквозь мокрыми, она ощущала всем телом холодную упругость

кустов, так мешавшую ей поскорее выбраться отсюда.

Туча обволокла небо, затянула все просветы между верхушками деревьев. Тревожно хлопали листья. Дождь лил как из ведра — шальная июньская гроза.

На крутом глинистом скате балки Валентина поскользнулась, упала. Кожаная сумочка с ландышами осталась где-то вверху. Ветви вырвали ее из рук. Опустившись на колени, она обшаривала каждый кустик. Шел восьмой час. Она впервые пожалела о том, что поддалась эфемерному соблазну напомнить себе и ему о любви к лесным цветам. Ее ладони горели — здесь, в балке, трава росла высоченная, жесткая, неподатливая. К восьми она теперь никак не поспела бы домой, даже если сразу вышла бы на дорогу. Но он будет ждать ее. До десяти вечера. В десять он исчезнет, как будто его и не было вовсе: все рассчитано до секунд.

Она подумала, что нужно успеть хотя бы к девяти. Она не сможет приготовить земляничный кисель, но баранина должна быть уже готова, во всяком случае, автоматическая печка, заботам которой она поручала мясные блюда, должна уже выключиться.

Сумочка нашлась, ее ремешок свисал с мертвого сучка. Она бы увидела ремешок раньше, если внимательно осмотрела бы это место, а не искала на ощупь... Сегодня утром она попробовала найти цветы в городе, но, кажется, было слишком поздно: разгар июня, ландыши уже сошли. Ей сказали, что в настоящем лесу, в заповеднике, в самых тенистых и влажных местах они еще встречаются. Днем, радостная, счастливая, она решила, что только цветов не хватает, и отправилась в заповедник. Она бродила часа два, пока не нашла первый листок с поникшей уже кистью. Потом ей повезло, и она набрела на лесной клад — пять зеленых стрелок с белоснежными колокольцами. Она загадала — выходило, что ей повезет вторично. Но другого такого места не нашлось. Кажется, она увлеклась. Но если бы Валентина не заблудилась, то даже гроза не помешала бы ей вовремя вернуться домой.

Заметно посветлело. Ливень иссякал. Место было незнакомое, открытое, вокруг кусты калины, круглые, свежие, с крепкими листьями, за ними светились стволы берез, дальше над яркой зеленью болота висела рябина



белесого тумана. Слева от нее пролегла просека или, быть может, заброшенная грунтовая дорога.

Едва заметная колея привела ее в низину. Впереди была такая глухомань, что у нее просто сил бы не достало пробираться вперед. Оттуда тянуло давней сыростью, холодом, растекавшимся во все стороны. Она растерянно огляделась.

Сможет ли она добраться до дому к половине десятого? «Как же,— подумала она,— теперь доберешься...» Она брела назад, к тому месту, где свернула в низину. Живо представилось, как он появился дома (в восемь!), как ждет ее. Может быть, смотрит книги. Что он подумает? Она залилась слезами.

Прошло еще полчаса. Впереди тянулась бесконечная березовая колоннада. Но дорога здесь казалась не такой древней, и у нее возникла надежда, что встретится кто-нибудь и скажет, куда идти. «Скорей,— думала она,— скорей, половина девятого, можно еще успеть». Но шаги ее становились все короче. Она опустилась на мокрую траву и почувствовала, как больно закололо в груди. «Все,— подумала она,— теперь уже все равно».

Через несколько минут она поднялась.

Далекий, нарастающий гул.

Похоже, мотороллер. С минуту она стояла как вкопанная, потом бросилась вперед, закричала.

Гул затих. Хрустнула ветка. Кто-то шел к ней. Мужчина в длинном плаще — в таком можно бродить по лесу и под дождем.

Он подал руку.

— У вас мотороллер? — спросила она. — Быстрее, прошу вас!

Она даже не стала объяснять, почему спешит, только повторяла: «Быстрее! Быстрее!»

Показалась долгожданная асфальтовая дорога; на обочине ждал мотороллер. Она примостилась на заднем сиденье. Мотор резко взял с места. Без четверти десять они ворвались в город.

Валентина всматривалась в поток машин, в огни, ползшие по проспектам, в равнодушные светофоры. Она прикрыла глаза, ей казалось, что так время идет медленнее. Она переживала и гадала, какой свет вспыхнет на перекрестке — красный или зеленый? Мотороллер миновал

последний поворот. Было десять. «Может быть, часы отстают», — попыталась она обмануть себя. Это не удалось ей: часы, она это знала, идут точно. Речь могла идти о нескольких мгновениях. Ей не хватало целой минуты.

Она кинулась к лестнице. Так быстрее, чем если дожидаться лифта. На лестничной площадке она крикнула, чтобы он подождал, если может. Вбежала, метнулась в его комнату.

Комната была пуста.

Она бросилась на кухню, потом в свою комнату.

* * *

Она переделалась, опять прошла в его комнату и осмотрела ее. «Даже записки не оставил, — подумала она в смятении, — как же получилось так...» Ну что ж, ведь он ждал ее. Разве мог он допустить, что встреча так и не состоится? До самой последней секунды он, видимо, надеялся, как и она. Она подошла к книжному шкафу и по закладкам и каким-то неуловимым признакам поняла, что он просматривал книги. Ни за что на свете, конечно, он не удержался бы, чтобы не заглянуть в трехтомную «Жизнь цветов, трав и дерсвьев» или в любимую когда-то им «Жизнь робинзонов» — книгу до странного наивную. Она пролистала их, чтобы причаститься к настроению, владевшему им здесь всего час или два назад.

Страницы застывали в ее руках, она пробовала быть внимательной. Как хотелось оказаться в этом мире простых мыслей, затеряться, исчезнуть... Она пересекла голубую от света поляну по желтой дорожке, изображенной на картинке. Ее поджидала величественная стена леса, приветливо шумевшего. Если бы можно было снова войти в него! Если бы кто-нибудь вернул ей всего несколько часов!

Она придирчиво оглядела кухню и прихожую. Там царил идеальный порядок. Печь была теплой — так и должно быть, она оставила автомату именно такие распоряжения. Она вспомнила о ландышах, отнесла цветы в его комнату и вернулась на кухню.

Кофейник сиротливо торчал на углу стола, на другом столе сгрудились формы для печенья, там же стояла малогабаритная машина-универсал, рядом с ней всевоз-

можные электрические альфы, феи, гномы — утром она устроила настоящий парад всей этой техники, от которой понемногу без него отвыкала. Она вынула из печи жаровню с бараниной. Потом бессцельно переставила глиняную миску с мочеными яблоками, вазочку с брусничным вареньем.

В гостиной тикали старинные часы. Близилась полночь. На стуле по-прежнему дожидалась ее картонная коробка с вязаньем. Окно было открыто. Перед уходом она закрывала его — в этом сомневаться не приходилось. В стекле отражалась матово-зеленая люстра.

Крышка пианино откинута... На ней знакомый сборник — «Этюды-картины Сергея Рахманинова». Она коснулась клавиш. Ее любимая мелодия рассыпалась, неровные шеренги нотных значков растаяли. Она обернулась. Зеленоватое пятно привлекло внимание. Ей начинало казаться, что она слышала фортепиано, когда мотороллер остановился у дома.

Можно ли быть такой невнимательной? Она упрекала себя; ее удивляли порой суждения и привязанности сына, но у него был несомненный дар — он умел верить и ждать.

Он звал ее просто Валентиной. Чаше всего так. Она представила его здесь, дома. Вещи, к которым он прикасался, рассказали о нем.

«МЫ ИГРАЛИ ПОД ТВОИМ ОКНОМ»

Ночью прошел дождь. Дорога, вымытая им до блеска, уже просохла. Ветерок сбрасывал с деревьев крупные прохладные капли, а по обочинам светились голубые лужи — свидетели первого весеннего ливня.

Сергей шел быстро, и его глаза сами собой прикрывались от солнца и встречного ветра, листья и цветы одуванчиков сливались в радужные пятна, а облака нависали над домами, как клубы белого дыма. Он остановился только один раз, да и то на минуту, чтобы выпить лимонаду из бутылки, которая перекатывалась в чемоданчике. После этого там оказался один прибор для

бритья, завернутый в мягкое полотенце. Через час он должен подойти к своему дому, но ему казалось, что это неправда, сон, что уже приходилось и раньше много раз видеть эту бесконечную ленту дороги, шагать домой по асфальту, по травяным дорожкам. Он стал перебирать подробности возвращения, но они терялись в памяти, словно все окутывалось туманом — и голоса, и лица.

Полчаса, не меньше, приходил он в себя в зале для прибывающих, и единственное лицо, которое ему запомнилось, было лицо девушки, сидевшей за столиком напротив. Очевидно, она кого-то встречала.

Сейчас ему пришло в голову, что у нее как будто знакомое лицо, он даже попытался вспомнить, где мог видеть его, да вдруг рассмеялся. Когда он улетел, ее, может быть, и на свете не было. «Типичное лицо,— подумал он,— хорошее лицо, можно позавидовать тому, кого она ждет». Самое интересное, что и девушка смотрела на него и удивленно и вопросительно, словно вспоминая что-то. Но он не обманывался относительно своей внешности — если кто-то и знал его раньше, то вряд ли узнает теперь. От прежнего Сергея в нем осталось очень мало. Скоро ему шестьдесят. Через три месяца. Теперь его вполне могут не допустить к полетам. Сошлутся на какой-нибудь пункт положения... Он будет просить, он может даже ходить на голове, а в ответ лишь разведут руками: «Рады бы, да не имеем права».

Ему казалось, что стоит отдохнуть, выспаться, побриться не спеша — и он станет прежним, сорокалетним, с виду молодым, но достаточно опытным. Увы, только казалось. Но захочется ли ему самому лететь снова? Он хорошо знает, что такое полеты: дни и ночи, целые годы, а потом отнюдь не встреча с чудесами, не райские куши, не земля обетованная... Лишь увидишь, как вырастет далекая звезда, станет похожей на Солнце, услышишь, как защелкают затворы фотокамер, включатся приборы, датчики, замигают огоньки на панелях дальномеров,— будь внимателец, не зевай, скоро назад. Так было дважды. В этот раз его притянуло к звезде, и он едва выбрался. Официально это называется исследованием околозвездного пространства.

Сергей чуть было не угодил в воду: прыгнул, но едва дотянул до края лужицы, она была довольно широкой, с

дном, исчерченным велосипедными шинами. Пахло сырой травой, клевером, асфальт еще не нагрелся по-настоящему. Из желтых одуванчиков вылетали шмели и гудели над пешеходной дорожкой. Дома зеркалами-окнами ловили и асфальт, и траву, и цветы, и облака. И поэтому окна становились то голубыми, то белыми, то синими, то зелеными. Длинным рядом цветных шахматных клеток шагали они вперед вместе с Сергеем, а возле домов прыгали, бегали, кричали дети.

Ему пришлось успокаивать пятилетнего мальчугана, гнавшегося за девочкой, которая отняла у него жука. Сергей остановил его, но это было капель, переполнившей чашу: мальчуган залился слезами.

— Мертвый жук... мой жук,— повторял он всхлипывая.

Майского жука он сам нашел на земле. Девчонка была старше его. Сергей дал ему большую белую ракушку. Мальчик не переставая всхлипывал. Сергей подождал немного и сказал ему, что ракушка с Марса.

Он уже отошел метров на сто, когда его догнал мальчишка с собакой. В руках ивовый прут; собака, остановившись поодаль, виляла хвостом. Он что-то сказал, но тихо, и опустил голову, ковыряя землю прутом. Он тоже просил ракушку с Марса.

— Очень жаль,— сказал Сергей,— у меня была только одна... Что? В следующий раз? Нет, я больше не полечу. Никогда. «Стриж» — моя последняя ракета.

Собака подбежала ближе и завиляла хвостом еще быстрее, мальчик водил по земле прутом.

— Видишь ли,— сказал Сергей,— раньше я всегда привозил много камней и ракушек ребятам из нашего дома, а сейчас так уж получилось... Я давно не был дома, а дети стали взрослыми. Да, брат... Ну, мне пора.

Эта ракушка, собственно, предназначалась его сыну. Она долго пролежала в чемоданчике, во всяком случае, в прошлый раз он возвращался уже с ней — нашел возле базы на Марсе. Сыну тогда было семь лет. Но дома его ждала коротенькая записка. Жена забрала мальчишку и ушла от него. И мебель и полы в комнатах были такими чистыми, как будто их мыли и протирали только вчера,— ни пылинки, ни соринки. С тех пор жена не давала о себе знать, пропала, как в воду канула. А он через некоторое время улетел. Собирался лет на восемь, а вы-

шло на двенадцать. Он любил жену и поэтому заставил себя забыть о ней. Сына он забыть не смог.

Он остался тогда один, все надеялся разыскать их, увидеть сына, да так не собрался. Передумал. В ожидании отлета (у него бывали свободными целые дни) подружился с соседскими ребятами. Мастерил для них игрушки — прыгающих зайцев и лягушек, ракеты, которые летали выше дома, впрягал бабочек в маленькие повозки из бумаги и ниток.

Шум да гам поднимался по вечерам во дворе, когда дети собирались вместе. Кто же захочет терпеть такое? Им не разрешали громко кричать, бегать с сачками по газонам, прыгать, взявшись за руки, на автомобильной стоянке. Мало этого. Им совсем запретили играть под окнами — только на детской площадке. Все, кроме Сергея. Он не ругался, не жаловался их строгим молодым мамам. Ему нравилось, когда под его окнами они затевали шумные игры. По крайней мере, скучно не было. Но родители пытались испортить и это маленькое их удовольствие. Они требовали, чтобы дети каждый раз вежливо спрашивали у Сергея разрешения бегать и прыгать под его окнами.

И когда он возвращался домой, ребяташки, оставив на минутку игру, как по команде кричали: «Сергей пришел!» (Нашли ведь товарища!) И длинноногая Элька, самая старшая из них, подбегала к нему и спрашивала:

— Мы играли под твоим окном. Можно?

Зашуршали шины. Легковая машина, поравнявшись с Сергеем, замедлила ход. За рулем сидел мужчина, рядом та самая женщина, которую он видел в порту.

— Вас подвезти? — Мужчина за рулем почему-то улыбался.

— Нет, спасибо, мне недалеко, — отговорился Сергей.

— Он подвез бы вас до самого дома, — сказала женщина.

— Мне уже предлагали машину в порту, я отказался. Надоела техника, да и спешить некуда. Вы издалека?

— Марс, Юпитер-два, — ответил мужчина и опять улыбнулся.

Женщина внимательно смотрела на Сергея. Его начинало это раздражать.

— Я был подальше,— сказал он.

— Мы знаем,— сказала женщина.— Соскучились по дому?

— Нисколько. Забыл, где он и находится.

— А ты? — спросила она спутника.— Не забыл?

— Нет,— ответил тот,— но мне не нужно было это и помнить, ты же обещала меня встретить.

Они уехали. Он пытался вспомнить, где видел ее раньше. Видел ли?

...Он шел по своей улице и издали узнал предпоследний дом у перекрестка. Нашел свои окна, зашел во двор. Дом был тот же, да не совсем, словно тоже постарел. Деревья, которые сажали еще при нем, здорово выросли, и поэтому дом казался чуть ниже.

И там, во дворе, на скамейке, словно поджидая его, сидела женщина, с которой он разговаривал по дороге. Она заметила его, наклонилась, что-то сказала... И тогда он увидел детей, бежавших к нему. Сергей остановился. Он узнал. Два лица наконец слились в его памяти. Элька, прыгавшая через веревочку под его окном... Элька с коротенькими пушистыми косичками и длинными ногами? Неужели она помнит его? Он в нерешительности переводил взгляд с нее на ее мужа, на детей, подбежавших к нему. Нужно было что-то сказать, хотя бы просто поздороваться. Он видел, что им хорошо, что им весело.

— Здравствуй, здравствуй, Сергей! — закричали дети.— Мы играли под твоим окном!

...Его разбудил звонок. Он не сразу понял, чего от него хотят. Все, что он успел увидеть за окном, едва приоткрыв глаза, или вспомнить, казалось продолжением сна, начало которого затерялось в далеком мальчишеском детстве. И тогда, как сейчас, были люди, лица, небо, затянутое облаками. Мягкий свет в комнате. Шаги за дверью, на кухне. Голос не то бабки, не то матери. Утро. Звонок. Пора в школу. Его торопят: «Скорей, скорей, опоздаешь!..» Ах, как не хочется вставать, еще минутку бы! Но ласковая бабка безжалостно срывает одеяло.

Пока он одевался, кто-то нетерпеливо нажимал кнопку звонка. С улицы доносились голоса, тихий рокот моторов, далекие гудки.

Сергей открыл дверь, пригласил войти. Человек помедлил, словно в нерешительности, потом быстро прошел

в комнату и после извинений сразу приступил к делу.

— Видите ли,— начал он,— нам неясны некоторые детали, касающиеся вашего возвращения. Может быть, это покажется странным, но я должен кое-что узнать у вас. Моя фамилия Волин, я с космодрома.

— Спрашивайте,— сказал Сергей.

— Не помните ли вы точное время приземления?

— Десять часов двадцать минут.

— Вы приземлились на ракете «Стриж»?

— Да, на «Стриже».

— Номер посадочной площадки?

— Площадка номер девять. Что-нибудь случилось?

Волин молчал, словно собираясь с мыслями. Сергея раздражал его тон, хотя он и понимал, что Волина привела к нему важная причина. Прийти, не связавшись предварительно по фону? Ему вдруг показалось, что тот хотел появиться неожиданно, сразу, не предупреждая.

— В чем же дело? — снова спросил Сергей.

— Дело в том,— медленно проговорил Волин,— что площадка номер девять пуста.

— Где же ракета?

— Нигде. Ее нет. Она пропала.

— Вы шутите... Поищите ее в моем чемодане.

— Это бесполезно. Ракеты вообще не было.

— То есть как не было?

— «Стриж» не приземлялся.

— Выходит, я пришел пешком?

— Вам это лучше знать.

Странное чувство испытывал Сергей. В голове крутились обрывки воспоминаний, впечатлений, мыслей. Он внимательно смотрел на Волина, его лицо словно удалилось, голос тоже звучал откуда-то издалека. После вчерашнего голова еще кружилась; если бы его не разбудили, он бы, вероятно, спал еще долго. Усилием воли Сергей поборол остатки сна. Лицо Волина приблизилось. Собранный и подтянутый, с нарочито неторопливыми жестами, Волин как будто изучал Сергея. Внимательные глаза его были полуприкрыты. Именно такие вот, до поры до времени находясь как бы в засаде, могут молниеносно повернуть события, в единый порыв вложить всю силу и ум.

— Представьте,— медленно говорил Волин.— Приле-

тает космонавт. По крайней мере, утром случайно становится известно, что он дома. Ракета исчезает. Ищут следы приземления — их нет. Физико-химический анализ поверхности площадки говорит за то, что никакой ракеты не было вообще. Никто не зарегистрировал приземления. Никто не видел ракеты. Ни один человек. Ни один локатор. Какие-нибудь догадки, пояснения? Их нет. — Волин смолк, повернувшись спиной к собеседнику.

Сергей будто вслушивался в его многозначительное молчание. Совершенно неожиданно ему вдруг стало смешно. Потерять ракету? Что они, ошалели, что ли? Сдерживая улыбку, он повернулся к Волину.

— Так, значит, «Стриж» не приземлялся? Едем на ракетодром.

...Сергей прошел к взлетной площадке. Волин остановился у низеньких перил. Был обычный рабочий день. Поодаль, метрах в ста, люди в комбинезонах готовили к старту чью-то ракету. Оттуда доносились мерное электрическое жужжание и резкие металлические звуки.

Между каменными плитами ракетодрома пробивалась пыльная трава. От труб энергопитания поднимался теплый воздух. Дальний лес серой дрожащей лентой исчезал за горизонтом. Площадка номер девять была пуста. Ветерок перекатывал по бетону тяжелую соломину.

Сергей понимал, что обстоятельства вовлекли его в центр необъяснимых пока событий. Но где их начало? Его считали погибшим. Неожиданное отклонение от расчетной траектории — и ракету бросило к звезде. Он видел красные фонтаны протуберанцев совсем близко, почти как этот лес на горизонте. И раскаленный звездный ветер гнал за корму светящиеся облака, горячие, извивающиеся вихри, словно в дышащей жаром печи жгли золотистых змей. Можно ли само его возвращение считать первым звеном в цепи этих событий? Очевидно, нет. Он ведь отлично помнил, чего ему это стоило. Он остался жив, потому что перенес перегрузку.

Но дальше... эта пропавшая ракета. Сергею вспомнилось, как Волин разыскал того самого мальчишку, который просил ракушку. Собственно, найти его было нетрудно. Дом Сергей примерно помнил, его жизнерадостную белую собачонку видели здесь многие. Мальчик сразу узнал Сергея. Когда Сергей полушутя попробовал пере-

дать ему разговор с Волиным о ракете (им все еще владело веселое настроение, и дорогой он подтрунивал над Волиным), мальчуган вытаращил глаза. «Вполне естественная реакция», — сказал Сергей как будто про себя. Волин промолчал.

И все-таки версию о недоразумении приходилось отбросить. Ракеты не было ни на одном из космодромов. Сергей медленно шел сейчас к тому самому месту, где вчера он спустился с трапа на землю. Волин что-то крикнул и показал руками.

— Что, что? — переспросил Сергей.

— Возвращайтесь, — услышал он, — не ходите по площадке!

Темного дерева стол, два-три стула, шкаф с книгами во всю стену, окно настежь — это и был кабинет профессора. Сергей остановился у двери, профессор Копнин предложил стул, извинился за беспорядок, украдкой смахнул на лист белой бумаги окурки, расплзшиеся из пепельницы. Лист скомкал, зажег свет («Как быстро стемнело, я и не заметил!»), из-под очков — рассеянный взгляд на Сергея, голос тихий, спокойный:

— Знаете, просчитали мы по вашим данным траекторию. Оставалось всего двадцать тысяч километров до фотосферы, «Стриж» неминуемо должен был встретиться со звездой, понимаете? Сгореть, исчезнуть. Как это вам удалось, расскажите-ка!

Сергей ответил что-то. Что он мог рассказать ему? Можно ли рассказать о годах надежд и тревог, о любви, о смерти, о жизни? О минутах ожидания? Об отвоеванных секундах и метрах, подаривших ему жизнь? И о том, как нервы звенят, словно натянутые струны, и руки сжимаются, да так, что костяшки пальцев становятся белыми? Ведь слова будут сухими, не похожими на правду.

Копнин предлагал для объяснения происшедшего весьма сложную гипотезу. Он ссылаясь при этом на недавние астрофизические исследования структуры звездных спектров.

— Представьте каплю и океан, — говорил он Сергею. — Каплю мы изучили, взвесили, измерили и поражаемся всемогущей природе, создавшей такой шедевр. Об

океане же мы знаем очень мало и потому считаем его просто большой лужей, в лучшем случае механическим собранием множества капель. Капля — это Земля. Океан — звезда. Некоторые думают, что звезда — это чуть ли не извечное скопление осколков атомов, что-то вроде гигантского костра, котла, в котором не найдешь ни одной целой молекулы. Отчасти это верно, но лишь отчасти.

Нельзя сбрасывать со счетов эволюцию. Почему это в одной-единственной капле — горы и равнины, люди, ракеты, любовь, плотины, революции, искусственный синтез ядер, математика? В океане — нуль. Разве это так уж бесспорно?

Сергей рассеянно слушал. Ему хотелось подойти к открытому окну и помолчать. Сейчас, когда над столом мягко горел свет, а на улице стихал городской гул и от кустов, травы, деревьев пахло молодыми листьями, он по-настоящему наслаждался. Это был его второй вечер. По шоссе плыли огни. Красные, желтые, зеленые. Над теплой землей дрожали звезды. Он пока не вполне понимал профессора. С большим удовольствием он поговорил бы с ним о цветах и яблонях, о старом доме, в котором жил мальчишкой, о кино, книгах, рыбной ловле, но каждый раз Копнин деликатно переводил разговор на интересовавшую его тему. По его словам, нуклоны и электроны, эти кирпичики, из которых построено вещество, могут располагаться так, что их комбинация будет устойчивой, способной противостоять огненному урагану звезды. И, раз возникнув, она не исчезает, не растворяется в огне, потому что сама похожа на вихрь, на горячий смерч. Такой вихрь появляется чисто случайно, вероятность его рождения ничтожна. Но ведь звезды существуют миллиарды лет, их масса... Стоит ли это напоминать Сергею? Цифры говорят о том, что такие устойчивые вихри не фикция. У потока радиации берут они энергию, новые силы.

Странную гипотезу развивал профессор Копнин. Из известного факта о материальной основе мысли он делал далеко идущие выводы. Движущиеся ионы, электрические потенциалы, биотоки — вот с чем связана мысль. Но и рой элементарных частиц с его неизмеримо более высокой энергетикой, со структурой, четко оформленной гигантскими силами, с молниеносными нейтринно, по мнению

Копнина, был не менее подходящей питательной средой для мысли.

Копнин подал Сергею конверт. Тот вопросительно посмотрел на него.

— Там снимки, ознакомьтесь.

Сергей достал два фото — большое и поменьше. На большом фотоснимке ночное небо, в правом верхнем углу — слабое светящееся пятнышко. На втором фото — пятнышко покрупнее.

— Случайные снимки, — сказал Копнин, — сделаны примерно за пять часов до вашего возвращения.

— Вихрь, о котором вы говорите? Уж не думаете ли вы, что дело обошлось без ракеты?

— Для меня это почти очевидно.

— Но кислород... все остальное?

— Э, пустяки! Из одного литра нуклонов и электронов можно сделать столько кислорода, что хватит на все человечество.

— Ну да, нужно лишь расположить их в определенном порядке.

— По-видимому, у них это получается.

— Живые вихри? На звездах? Переносящие космонавта на Землю? Но ведь для этого им, по крайней мере, нужно уметь угадывать мысли, а это не так-то просто — анализировать биотоки мозга. Неужели вы верите?

— Я верю фактам, — сухо сказал Копнин.

— Но если даже было что-то похожее, почему я не помню ровно ничего?

— Это уже дело техники. Внушение, гипноз — как угодно. Так нужно, понимаете? Почему? Ну хотя бы для того, чтобы не травмировать психику. Вы летели в ракете. Но это лишь иллюзия. Ракеты не было. Это точно установлено... Что? И вас и ракету? Это гораздо сложнее — перенести ракету. Если хотите, из чисто экономических соображений.

Сергей лихорадочно искал возражения. Все в нем сопротивлялось желанию поверить в услышанное. Выходит, он своим спасением обязан кому-то? А кому — толком и неизвестно.

— Хорошо, — сказал он, — пусть они настолько пронищательны. Допустив это, мы сразу придем к противоречию. Я же хотел не просто вернуться. Я хотел увидеть

сына. Что им стоило? Если все так и есть, как вы говорите, для них это суший пустяк, а я... Попробуй-ка теперь найди его. Я видел его, когда ему два года исполнилось, понимаете? Жена наверняка не рассказывала ему об отце... А как вы так быстро узнали о моем возвращении? Ракета не приземлялась. Меня считали погибшим, так ведь? Меня и помнит-то здесь одна Элька. Девчонкой была, когда улетал, а узнала.

— О вас мы узнали от ее мужа. Он слышал от нее про вас и хотел помочь — избавить вас от обычных формальностей. Вернулся он в тот же день, утром, приехал в порт — оформить свои дела, заодно и ваши, чтобы лишний раз не беспокоить вас... М-да, сын... Я и не знал, что у вас есть сын. Но его вы разыщете сами, возможно, что это уже выше их сил. А этот, как его... Добров, Владимир Добров, ее муж, сам-то возвратился раньше времени — отказал основной реактор. И без всяких видимых причин. Два необычных приземления одновременно — случай в нашей практике весьма редкий... Вы хотите спросить?

— Да. Этот Добров — он давно летает?

— Нет. Вернулся из первого полета. Хороший парень. Мать схоронил лет десять назад, отца и не помнит...

Сергей повернулся спиной к изумленному профессору. Расстегнул ворот рубашки, как будто он душил его.

— Так вы говорите, его зовут Владимир Добров?

Снова и снова всплывали в его памяти женщина с ребенком на руках, смех, плач, улыбки, слезы старых дней. Вот она, Елена Доброва, его жена. Стоит только дать волю воспоминаниям — и она опять как живая. Вот ее руки, совсем близко, сейчас она поднимет глаза...

Слишком поздно он вернулся.

Он думал, что забыл ее, и, чтобы крепче забыть, улетел. Только подсознанием он чувствовал иногда легкую, почти незаметную боль слева, в груди. Она прокрадывалась в его сны все эти годы. И тогда он как будто снова бродил по пояс в траве. И где-то рядом был знакомый голос. Желтые края вечерних облаков. Тени от кустов на влажной земле.

Закрыв ладонями лицо, Сергей снова пересбирал под-

робности, боясь поверить, боясь ошибиться. Возвращение. Мальчишки на улице. Элька, Волин. Разговор с профессором. Владимир Добров. У него фамилия матери. Странное стечение обстоятельств? Случайность? Нет, исключено. Они ведь возвратились одновременно. Копнин прав.

Сжав голову руками, Сергей попытался справиться с захлестнувшим его потоком. И не смог. Он думал о сыне. Ему бы и в голову не пришло... хотя он и похож на свою мать.

Их дети — его внуки, возможно ли? Ему захотелось увидеть их, но на улице была уже ночь. Он стал припоминать лица. Черты их были знакомыми, близкими и все-таки ускользали от него, терялись, таяли, а взгляд встречал в темноте за окном лишь светляки фонарей, от которых шли влажные лучи.

ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТЫ

Крылатый конь

Вечером прошумел дождь и утих. Открылись серебряные звезды. Перед восходом еще раз прилетали тучи, но ненадолго: утро было чистым и прозрачным.

«Похоже, очень похоже,— подумал Сергей, просыпаясь, и мысль была так отчетлива, что казалось: кто-то повторял ее вслух.— А ведь все здесь другое. Вот что удивительно: даже сон невесомый какой-то, точно в скоростном самолете или ракете. И не вспомнить сразу, что снилось: сосны на взморье? Весна? Июльское поле?..»

Он подошел к окну и увидел, как рассыпалась далекая громада тучи. Звезда-солнце прожгла ее насквозь. Как ни стремителен был рассвет, под деревом у окна еще пряталась предутренняя тень. Крылатый конь пробежал под окном, разрезав тень светлыми крыльями, и остановился на поляне как вкопанный. Его появление стерло в памяти сон о Земле.

За стволом дерева мелькнула фигура Рудри. Он накинул на крылатого коня седло. Тот вздрогнул, словно от

ожога. С ветки сорвалась дождевая капля и розовым яблоком укатилась в траву.

— Конь готов,— громко сказал Рудри.— Ждет гостя.

Сергей вышел на крыльцо. Легкий воздух дрожал, как летучее пламя, готовое сыпануть искрами и угаснуть. Дважды в год тысячекилометровая орбита выводила планету почти в самый центр двойной звезды, где гравитация белого и черного, невидимого, солнц точно заводила часовую пружину. Планета вращалась быстрее. А вес всего, что находилось на ней, менялся, даже скалы становились легче. Наступали дни, когда все летающее и порхающее расправляло крылья и паруса, чтобы ринуться вверх. И сегодня было такое утро, утро невесомости.

Этот хрупкий мир породил человека с непостижимым разумом. Уметь, не зная многого из того, что давно известно на далекой планете, именуемой Землей,— это ли не парадокс?

Создание было для них простым удвоением. Когда-то в Элладе пифагорейцы, чтобы провести прямую, воображали в пространстве две точки. А удвоенная линия давала начало плоскости. Так, удваиваясь, разворачивался их мир во всех доступных им измерениях. Здесь думали почти так же. И еще: отражение в зеркале они считали таким же реальным, как предмет.

Искусство сливалось здесь с опытом, с крупницами знания на протяжении веков, и, чтобы понять причину этого, нужно было лишь понаблюдать призрачную картину мерцающей в свете близких звезд равнины, и непостоянство хода времени, рождаемое совсем иной стихией, чем в других местах, и многосложность жизни, бессильной пока постигнуть общие причины, но уже научившейся угадывать и хранить истину. «Всему свое время,— думал Сергей.— Крылатые кони сделали мечту о небе явью, и этому следует удивляться не меньше, чем нашей первой ракете. Будет у них и техника. А вот если бы произошло невероятное и наши космические полеты начались веком-двумя раньше, таких, как Рудри, наверное, ловили бы да отправляли в клетках на Землю...»

Конь гордо вскинул голову, крылья его прижались к траве, концы их дрогнули. Улучив мгновение, Рудри вскочил на конскую спину. Сергей прыгнул следом. Нарастающий гул от копыт. Бьющий в лицо ветер. Движение.

Рудри выкинул вперед руки, из пальцев выскочили электрические искры, ужалили коня, и в сияющем просторе развернулись во всю ширь два полотнища цвета весны. Полет!

Меднолицый, в коротком светлом плаще, Рудри сам был похож на взмывшую ввысь птицу. Влажный плотный воздух сопротивлялся, срывал с плеч плащи, слепил коню глаза, свистел в упругих крыльях, но они неслись все легче и стремительней. Сверху и снизу летели к ним крики птиц, но чаще не достигали их ушей; замолкали вдали звоны колокольчиков на шеях коней, гулявших в поле. Под ними промелькнули седые от легшей на них влаги луга и чистые — желтые и белые — берега просторных стеклянных озер. Потом потянулись к небу деревья, точно и они хотели взлететь в это погожее утро. Их рифленые стволы были тяжелы, высоки и похожи на органные трубы, а кора на них плавилась и стекала к подножию. Покачивались стройные пирамиды с ребристыми трехгранными листьями — в холодное время они умели фокусировать свет и тепло, согревая себя. Но как хотелось увидеть хоть одно земное деревце — с настоящим земным характером! Такое, что бездумно шелестит молодыми ветками под теплыми майскими ветрами, глухим позваниванием желтеющих листьев провожает последнее тепло, а зимой погружается в грезы о пресветлом лете. Хотелось соединить нити жизни, протянуть их от звезды к звезде, от планеты к планете, найти общее, чтобы лучше понять различия.

...Куда ни кинь взгляд, всюду зеленое и голубое. Молод был этот мир и нов. Земные ракеты — первые машины, измерившие его девственный простор. У горизонта растаял домик станции; потом серебристая ракета слилась с деревьями. Воздух стал прозрачнее. Сначала они видели планету с высоты птичьего полета, затем исполинские крылья подняли их выше, намного выше — туда, куда не залетели бы ни земные, ни здешние птицы.

Ураган

Ураган возник, едва ли нарушив своим появлением законы вероятности, но он был неправдоподобно силен и быстротечен. Выпуклые зеленые глаза Рудри не смогли

заранее уловить признаки близкой грозы — так обманчива видимая ясность атмосферы. И вот первые молнии вышли на небе узоры.

— Мы не успеем вернуться, — сказал Рудри. — Под нами тучи и настоящий водопад.

— Еще можно держаться.

— Пока вы произнесли это, нас отнесло на полвэйда¹ к центру воронки. Это смерч. Когда придет время, откажитесь от поездки.

— Значит, вы хотите...

— Да.

Они уже знали: связь с планетной станцией потеряна, а гигантский смерч, в центр которого они попали, вытягивался в сторону темной звезды. Недаром в их легендах этот остывший комок вещества играл совсем особую роль.

Мифы планеты тесно переплетались с жизнью. Но Сергей мог лишь догадываться, какие силы порождали предания и легенды. «Отказ от поездки» — условная формула, не более. Здесь верили, что, если лететь навстречу угасшей звезде, можно встретить своего двойника, точно отражение в невидимом зеркале, перевоплотиться в него и вернуться на планету. Вот почему основой их науки было удвоение вещей. Это не казалось Сергею странным: ведь у любой частицы материи и впрямь есть двойник. Этот двойник — исходящие из нее волны. Все от атомов и электронов до планет только кажется сгустками, кусочками вещества. На самом деле это еще и волны, совсем особые, невидимые волны. Во многом они оставались еще загадкой, но они существовали, многие физики в этом не сомневались уже в первой половине двадцатого века. Незыблемые, казалось, законы старой механики уступили место новым, более сложным, но и более интересным волновым принципам. Новая волновая механика позволила вдруг заглянуть в волшебное зеркало. Может быть, и здесь, на далекой планете, именно эту двойственность вещей уже разгадали, но объясняли пока по-своему? В первые же дни своего пребывания Сергей ответил на этот вопрос. Ответ был любопытен. Да, они разгадали. Более того, они умели использовать неуловимый переход

¹ В э й д — единица измерения длины на планете, равная примерно 0,16 километра.

от вещества к волнам и обратно, может быть, потому, что темная звезда обладала необычным свойством, она отражала волны вещества, возвращала их на планету. Но эти волны почти неощутимы, хотя и вполне реальны, как все вещи нашего мира. Как же они наблюдали их! Этого Сергей пока не знал.

...Молнии стали ярче. Каждый удар электрического копья на миг останавливал движение, и тогда в странной неподвижности застывали раскрытая пасть испуганного коня, сверкающие ожерелья его зубов, ставшее маской лицо Рудри. Вихрь, скорость которого освободила все и вся, находящееся внутри, от сил тяжести, поднимался в потемневшее небо.

Постепенно вверху открывалась бездонная чаша космоса. Где-то там висела черная звезда — антипод горячего солнца. Окрест, точно рваные края вулканического цирка, громоздились облака.

— Будьте внимательны,— крикнул Рудри.— Вовремя откажитесь от поездки. Возьмите...

— Что это?

— Не спрашивайте. Мои объяснения вам не подойдут. Просто смотрите — и все. Когда увидите, переключайте сознание. Изображения на пластинках у вас называются голограммами. Не пропустите свою голограмму.

Это была прозрачная пластинка — стекло не стекло, кристалл не кристалл, и, конечно, сквозь нее было видно то же, что и невооруженным глазом. Потом вдруг Сергей заметил пятнышко у верхнего угла пластинки. Он чуть-чуть повернул ее — пятнышко перешло в центр, стало очевиднее, больше. Вот уже ясно различались всадники на крылатом коне... Да, это были они сами — Рудри и он. Изображение было сначала маленькое, как в перевернутом бинокле, но скоро выросло, и тогда он увидел свое лицо. Это было отражение волн от звезды, преобразованное кристаллом. Но это было не только изображение. Изображение дают электромагнитные волны, свет. Волны вещества, сливаясь, должны были создавать нечто большее, чем изображение. Там, по ту сторону пластинки, мог быть только двойник. Пластинка лишь позволяла его увидеть.

От непривычного усилия в глазах проплыли радуги, сменившиеся мгновенной темнотой. Переключая сознание,

мысленно вживаясь в эти встречные фигуры, они ощущали плотность застывшего на какое-то время пространства и затем легкость. Они уже летели прочь от темной звезды. Они как бы перетекли в свои отражения, они вернулись.

Размышления

Только что были сумерки, словно половину мира закрыли черным чехлом, а в другой его половине зажгли тусклые свечи. И вдруг — безмятежное сияние неба, мокрая зелень, рыжеватая от солнца, последние облака, рассекаемые солнечным мечом. Ураган ушел. Снова огненные лучи принялись за свое дело — сушить почву, поднимать травы. И с каждой минутой светлее, и зеленые ковры расстилаются все шире и дальше — раздолье крылатым коням.

...Два солнца — темное и светлое — составляют двойную звезду, планета вращается вокруг светлого солнца, вернуться же на нее можно, встретив волновое отражение. Проста, казалось бы, небесная механика. (Все, кто работал на планетной станции, уже в первый день убедились, что радиосигналы возвращались с темной звезды так легко, как если бы встретили там сверхпроводящую поверхность. Но что такое радиосигналы?) О возвращении человека в стенах станции почти не говорили. Но нужно же было кому-то начать? Может быть, как раз повезло, что он и Рудри оказались в центре событий, думал Сергей. Кто-то должен быть первым. Они бы могли поступить иначе, и, вероятней всего, уставший ураган опустил бы их где-нибудь у Моря Нстойчивых, или дальше, у отрогов Хребта Коперника, или... О том, что было бы в последнем случае, сейчас думать не хотелось.

Он видел, как улыбающиеся люди взяли под уздцы крылатого коня, как Рудри исполнял танец возвращения — обязательный ритуал. В его угловатых, но точных движениях Сергей узнал, разглядел и самого себя, и свой недолгий испуг, и неровное движение конских крыльев, только что пронесших их над планетой. Наблюдая за Рудри, он старался еще глубже проникнуть в тайну возвращения, понять, как умение, пусть только иногда, может

заменить знание. Он знал, что самая характерная черта настоящего космонавта — это внимание, пронизательный ум, зоркий взгляд, направленный в даль и в глубь мира. И еще: без тени высокомерия, сегодня и завтра, нужно учиться понимать иную жизнь и иной разум, как бы самобытны они ни были.

Пленники необъяснимых явлений, эти люди, как кудесники, чувствовали природу и текущие в ней животворящие силы. Но жизненный ток, как магнитное поле, излучается вовне, и они установили связь событий, запечатлели ее в образах, отлили в сплав созвучий, превратили в песни и танцы. А что такое искусство, как не умение вживаться, вчувствоваться во все и вся? Отсюда один шаг до умения возвращаться. Сначала случайность, потом правило, передаваемое из поколения в поколение, почти инстинкт. В этом молодом мире, как в Элладе, музыка заменяла иногда философию, а мысль сочеталась с гармонией. Но они уже стояли на пороге нового знания. В их древних книгах Сергей читал уже много раз: «Происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением».

Когда-нибудь, думал Сергей, они поймут, что волны — это лишь иное проявление природы вещей. Не исключено, что к тому времени они забудут свои поездки на крылатых конях, да и сами кони станут далеким воспоминанием или живой реликвией, как на Земле слоньяньки.

Он достал пластинку (это все-таки был кристалл), потом рассчитал угол, где должна быть черная звезда. Повернул грань перпендикулярно выбранному направлению, она сверкнула отраженным светом солнца, и он увидел свое лицо. Зеркальное отражение совпадало с отражением волн от темной звезды. Значит, за пластинкой, невидимый, неошутимый, стоял его двойник.

Космическая бабочка

Порой казалось, что небо составлено из синих и желтых кусочков, как мозаика. Глаз не мог мириться с однообразной бесконечностью голубого простора — легче надеть его весом и плотностью, разрисовать золотыми ле-

пестками невиданных цветов, в мельчайшей пылинке увидеть сверкающие грани неведомого.

Полдень, затерянный в созвездиях. Далекая планета. Первый выходной на станции после рабочей недели.

Чей-то вскрик:

— Космическая бабочка!

Взметнулась тень. Тут же упала и опять поднялась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тревожно хлопают крылья, раскрывая зеленую бархатную вышивку. Кто знает, уносится ли она ветром, поднимается ли в заоблачную высь по неволе или действительно может подолгу жить в космических далях, а у планеты лишь иногда мелькает порывистой тенью? Ее большие крылья могли бы служить парусом, ловящим свет, она летала бы тогда и вдоль и поперек лучей, как сказочная космическая яхта. Сколько дней и бессонных ночей стоит открытие всех истоков жизни только на одной лишь планете? Кто знает...

«Что мы поняли за неделю?» — спрашивал себя каждый работавший здесь. И вынужден был ответить: «Да ничего, ровным счетом ничего».

А бабочка села, ее крылья-паруса тревожно подрагивали. Сергей подошел, протянул руку. Тень руки подняла бабочку вверх так легко, как будто она и в самом деле скользнула по невесомым соломинам лучей.

...Еще одно открытие: на пригорке (от станции рукой подать!) на белом песке рос тысячелистник. Вчера или позавчера кто-то видел будто бы крушину, да не поверил, прошел мимо. Зато теперь ни запах, ни фиолетовый оттенок мельчайших цветков, собранных в корзинки, не оставляли сомнений: на сухом пригорке приютилась семья тысячелистников. Невероятная случайность? Или, может быть, жизнь повторяла себя?.. Как нетерпеливо ладони размяли твердые зернышки корзинок, как терпко они пахли, как хорошо было лежать здесь и видеть расчерченное качающимися стеблями и тонкими листьями небо!

Голос Рудри:

— Бабочка Кэрмис!

В руке у него живой зеленый лоскуток бархата. Он протягивает его Сергею

— Зачем поймал? — Сергей встал, но на бабочку не взглянул.

— Космическая бабочка! Ты же просил ловить жуков, бабочек и собирать разные травы.

— Отпусти. Потом поймает еще, а эту отпусти.

Рудри осторожно разжал пальцы. В глазах его мелькнуло невольное восхищение: как она летела!

— Пойдем,— сказал Сергей.

Впереди пылил вздоход, и они свернули с дороги. Долго шли по густой траве, пока домик станции скрылся из виду. Возбались на высокий холм, где клонящееся к закату солнце согрело их лица и ладони теплыми красными лучами, спустились к ручью, переправились через него и прошли еще не меньше пяти километров. День кончился, они все шли, и небо светилось тем спокойным предвечерним светом, который знаком всем и на Земле.

На далеком пригорке стояло дерево. Что-то знакомое чудилось Сергею в темной кроне, в гибких ветвях. Солнце мешало присмотреться, они повернули к пригорку, прошли немного вправо, прямо на закат. Перед темной линией кустарника дерево встретило их шелестом склоненных ветвей. Сергей подошел к нему и крепко прижался щекой к гладкому стволу. Узорчатые листья рябины легли на его руки.

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА

Под обрывом плескалось море. Две серых скалы — одна повыше, другая пониже — казались камнями. До ближайшей из них метров семьдесят. Ее в расчет можно не принимать, даже если лететь с обрыва с закрытыми глазами. Вторая, та, что поменьше и подальше, должна служить ориентиром. Рядом с ней начинается участок траектории «сухой лист». А это самое трудное. Копенкин мог спокойно пройти над первой глыбой, а дальше нужно было действовать точно и быстро. У второго камня — отдать ручку аппарата резко вверх. Правда, не до отказа: необходим резерв. Дельтаплан поднимет нос рывком. Тогда Копенкину надо дожать ручку, сразу, почти мгновенно выпрямить ноги и заставить аппарат перевернуться, положить его на внешнюю поверхность крыла.

С этого маневра начинается то, что он назвал «сухим листом»: скольжение в воздухе, когда дельтаплан идет вперед задней кромкой крыла, поднимая ее. Новое резкое движение — и крыло снова принимает обычное положение. Вертикальный разворот. Это все, вся петля Нестерова. Хорошо, что есть ориентир. Риск? Приземление гораздо рискованней приводнения. Это ясно. Ну а тренировки возможны разве что под куполом цирка со страховочными концами, но отнимать хлеб у артистов-циркачей ни к чему.

«Пора, — мелькнула долгожданная мысль. — Еще раз проверить крепление! Хорошо, так, как надо. Ну... вот она, минута». Аппарат с человеком скользнул с обрыва. «Круче, круче вниз!» — командовали руки Копенкина, и сам он стремился вниз, чтобы набрать скорость. Она нужна в решающем взлете вверх — там, у второй скалы. Крымское солнце стояло высоко, и тень от дельтаплана скользнула по известняку обрыва, по кривому дереву, чудом державшемуся на камнях.

Вспомнилась случайная строка. Кажется, Гомер... «Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный».

Расчетная точка маневра. Ручка вверх. Вверх! Плотнище крыла сопротивляется, оно хочет немедленно освободиться от любой власти. Но к этому он готов. Есть вертикальный поворот! Копенкин парит на спине. Собственно, аппарат тоже на спине, отдыхает вместе с пилотом. Снова поворот. Внизу темный, изъеденный солеными брызгами камень, он гораздо больше теперь, когда аппарат разменял скорость на энергию маневра.

Последние доли секунды. Сейчас камень останется за спиной и сбоку; от радости можно будет спикировать в голубовато-прозрачную воду, а потом, ослабив ремни, выбраться на поверхность, потом — на обрыв и, наконец, крикнуть своим — тем, что летают на пологом холме. Они наверняка услышат и помогут отбуксировать аппарат к берегу.

Что это? Кольцо дыма. В воде. Или... Показалось? Море стало гладким в мгновение ока. Вода стеклянная. Флаттер. Толчок. Это вихрь. Удар. Последний выдох, разжавшиеся руки, набежавшая со скоростью гоночного автомобиля каменная стена. Мертвая темнота.



Вокруг была как бы черная вата, поглощающая звуки и свет. Копенкин не ощущал тела, внизу и вверху угадывалось пространство — странное, непостижимое. Он точно висел в нем. Он боялся думать, хотя его мучили вопросы, но знал уже, что не может пошевелить ни рукой ни ногой. Что же это все-таки за состояние?

И как только он пришел к выводу, что пора уточнить, что же с ним случилось, не покалечен ли он, способен ли сам добраться до лагеря дельтапланеристов, если, к примеру, удар о камни отнял у него только зрение, показался тонкий луч. Перечеркнув угольную черноту, сноп света расширился, скакнул несколько раз в сторону и замер, сверкая. Оранжевый, раскаленный металл — вот что это напоминало спустя минуту. Хотя, конечно же, судить о том, минута прошла или секунда, было нельзя. Как нельзя было судить и о многом другом. Ясно было лишь, что какая-то сила поддерживала Копенкина в этом безопорном пространстве, в этом черном мешке.

Оттенок свечения впереди изменился. Полыхнуло желтое пламя. И вот уже зеленые и голубые сполохи играли в широком конусе, напоминая отдаленно о проскоре, когда в кинозале пляшут пылинки, которые можно увидеть лишь с крайних, боковых кресел.

Весь спектр промелькнул и, словно повинуясь невидимой команде, слился в белый яркий сноп, и там матово заблестела пластинка. Наверное, она была из металла. Черные линии на ней сложились в рисунок. Мужчина и женщина. Правая рука мужчины поднята как бы в молчаливом приветствии. Под ногами их десять кружков: слева — самый большой, потом — четыре маленьких, два больших, два поменьше и крайний правый едва заметен. На левой стороне пластинки — четырнадцать лучей... Что-то очень знакомое. Копенкин силился вспомнить. Да, пришел вдруг ответ, это же изображение той самой пластинки, которая послана была с космической станцией «Пионер-10» несколько лет назад! Отправитель — Земля, адресат — неизвестен. Попытка контакта. Космический зонд унес с собой к далеким звездным островам сообщение о людях нашей планеты, о наших знаниях. Пусть неве-

домые наши братья по разуму поймут, что есть планета людей.

Копенкин читал статью о почтовом рейсе к звездам. Он до сих пор помнил именно эту часть рисунка на алюминиевой пластинке: стоящие мужчина и женщина, лучи-треки, солнце и планеты.

Вот он, один из кружков, изображающих нашу планетную систему, его пересекает горизонтальная черта: это Сатурн с его кольцами. Самый большой кружок — Солнце. От Земли вправо и за Юпитером вверх направлена линия со стрелкой, указывающей направление полета станции. Все совпадало. Пристально всматривался Копенкин в детали, которые не удержались в памяти, но были сейчас хорошо видны: вверху условный знак двух водородных атомов, за спиной мужчины — контур станции «Пионер-10» и ее антенны. Короткий вертикальный штрих — это масштабная отметка, двадцать один сантиметр. Именно такова длина волн, которые излучает межзвездный водород. Но что же означают четырнадцать лучей? Треки осколков при ядерном распаде? Кажется, нет. Скорее всего, это направления на открытые к тому времени пульсары. И, словно подтверждая это, по всем четырнадцати трекам пробежали красные искорки.

Пересохло в горле: рисунок на металле был живым. Не совсем так, конечно. Это копия алюминиевой пластинки. Сама пластинка адресована тем, другим. Копия адресована ему, Копенкину. Но кем? Что это означало? Смутная догадка промелькнула тут же, а происходившее неожиданно увлекло его.

Копенкин увидел: стрела, означавшая траекторию полета станции, вытягивалась, по ней тоже пробежала искра. И эта искра достигла контура антенны и там у поднятой в приветствии руки мужчины остановилась. Вспыхнул голубой огонь — так ярко, что Копенкин инстинктивно закрыл глаза. Огонь погас. На том месте осталось туманное пятнышко. Стало ясно: это путь станции и та точка, где ее обнаружили. словно невидимый собеседник рассказывал Копенкину о событиях. Но как рассказывал! Без слов. Так же, как когда-то, несколько лет назад, люди Земли хотели поведать о себе. Язык образов, язык рисунков прост и понятен всем.

Возник яркий голубой контур: круг, еще три кружка

поменьше, тонкий цилиндр и конус. Тоже станция? Да. Только та, другая станция, которая повстречала нашу, земную. Ее огонь засветился в точке встречи. Случайная встреча. Те, другие, подобрали контейнер с алюминиевой пластинкой — точно так же моряки вылавливают в море бутылки с записками.

Копенкин воспринимал эту историю так, как будто она относилась к нему непосредственно. И еще: он чувствовал теперь неразрывную связь со всем этим, будто бы и его неудавшийся полет на дельтаплане был лишь продолжением того, о чем рассказывали оживавшие рисунки.

Он по-прежнему находился в этом черном мешке, но казалось, что вот-вот появится твердая опора под ногами.

Голубой огонь чужой станции замерцал, пополз к Юпитеру. Между Юпитером и Сатурном траектория его изменилась. Он направлялся к Земле. Марс — мимо! Полвитка вокруг просяного зерна — родной планеты Копенкина. Вспышка! Посадка состоялась.

Еще несколько линий, ведущих к Земле. Другие станции и корабли. Не наши, чужие, понял Копенкин. И Земля начала расти. Земной шар заслонял собой пластинку. Копенкин испытывал, вероятно, то самое ощущение, которое знакомо космонавтам. Свет Солнца сделал планету объемной, воздух и океаны оживали, белесые облака сгущались в обоих полушариях, желтели пески пустынь и зеленели джунгли, в северной тайге проглядывали коричневые пятна сланцевых сопок.

А на самом севере — льды. В Северном Ледовитом. В Атлантике. Ближе, ближе эта ледовая шапка. Копенкин затаил дыхание: вот сейчас, еще немного — и он коснется ногами льда и обретет опору. Нет, он снова повис — ведь это была не Земля, не океан, не лед, а лишь изображение. Голограмма? Возможно.

Корабль. Ледокол. Копенкин видел американский флаг, людей на палубе. И перед самым носом ледокола вырвалось из-под льда огромное серебристое тело и мгновенно исчезло в небе. Люди на палубе забежали. Копенкин, казалось, слышал отрывистые фразы на английском. Что это было? И тут он вспомнил: этот серебристый шар, вырвавшийся пулей из-под льда, описан в журнальной статье. Неведомым образом ему показывали рисунки, кар-

тинки, изображения, хорошо знакомые, и только поэтому он без промедления узнавал ситуации.

Шар... Американский журналист писал, что д-р Рубенс Дж. Виллела как раз во время появления этого феномена находился на борту ледокола, принимавшего участие в маневрах «Дип фриз» в Атлантике. Все, что летало и плавало, интересовало Копенкина, и в его тетради осталась запись об этом. Впрочем, он и так все помнил до малейших подробностей. Очевидцев было, правда, немного: помимо д-ра Виллелы шар видели рулевой, вахтенный офицер и два-три матроса. Теперь это словно воочию увидел Копенкин. Ледяные глыбы, подброшенные в воздух, с грохотом обрушились на торосы. Вода в полынье бурлила, над ней поднимался пар.

Изображение застыло. Перед ним была цветная фотография — плоская и невыразительная. В мгновение ока некто заменил одно фото другим. Синее море. Далекий зеленый берег. На фоне прибрежной возвышенности — шесть кораблей: авианосец и пять эскортных судов. Ближе, ближе... Еще мгновение — и корабли ожили, белые буруны лизали их борта, за ними струи воды смешивались в пенные вихри. «Уосп», — прочел Копенкин на борту авианосца. И под водой, едва заметный, шел на большой скорости, не оставляя следов, странный объект.

А за ним, отставая все больше, двигалась тень, похожая на веретено, — подводная лодка. И это Копенкин знал... Было это еще в шестидесятых годах у берегов Пуэрто-Рико. Американцы проводили учения. Одна из подлодок преследовала ловушку. Только это оказалось не ловушкой, какие иногда используются в учениях. Совсем даже не ловушкой: скорость этого тела была сто пятьдесят узлов, втрое больше скорости самой быстроходной лодки. Крепкий орешек для американцев. И потом трое суток загадочный объект маневрировал и погружался до глубин, которые доступны были бы лишь для самых глубоководных аппаратов — батискафов.

* * *

Есть так называемый закон Карпентера, согласно которому всякое восприятие движения или одно лишь представление о движении вырабатывает слабый импульс в

человеке, стремление совершить именно это движение. Однако стремления оставались тщетными, как убеждался Копенкин. Но с ним что-то происходило. Постепенное возвращение к жизни — так это можно назвать. Копенкин не имел ни малейшего представления, что же с ним, собственно, происходило, но догадывался, что могло быть гораздо хуже. Его бросило на скалу почти с тридцатиметровой высоты. Страшно было подумать об этом...

Он проснулся сегодня рано, побежал к разлому каменной плиты, где по стеблям сбегали прозрачные капли родника. Умылся, нарвал букет степных невзрачных цветов и, осмелев, подошел к статной, синсокой, строгой Лидии Шевченко, поцеловал ее неожиданно для нее и себя и сказал, что пойдет к морю.

— Один? — спросила она.

— Да там сорок метров... ну, пятьдесят... вместо приземления — приводнение. Одно купанье чего стоит!

Лагерь спал. Лидию пригласили друзья, она еще не знала, что такое полеты.

Теперь он вспоминал этот короткий разговор и думал, что ни она и никто другой не хватились еще, где же он, и хорошо, что не хватились. Еще есть время.

«В вахтенном журнале норвежского корабля «Явеста» 6 июля 1965 года появилась запись о появлении из моря светящегося шара. Он двигался в северном направлении, затем резко изменил курс. Рулевой Нарсисо Гильон заметил объект сразу после того, как он появился над кораблем. Наблюдатель по левому борту матрос Эрнандес Амброзио видел, как объект вынырнул из моря. «Явеста» следовала из Венесуэлы к Канарским островам».

Это запись из тетради Копенкина.

Его удивило, что память способна восстановить давние записи, но это удивление не шло все же ни в какое сравнение с тем, что он испытывал, когда видел «Явесту» собственными глазами — почти двадцать лет спустя после эпизода, описанного в вахтенном журнале. И вот из воды появился серебристый быстроходный объект...

У него было ощущение, что ему все же помогли вспомнить подробности таких вот неожиданных встреч в море. И он догадывался, кто помогал.

20 июля 1967 года в 120 милях от побережья Бразилии в 6 часов 15 минут пополудни огромная сияющая сигара

показалась из воды, и ее наблюдал экипаж аргентинского торгового судна.

В памяти его всплывали строчки давно читанных сообщений. И он догадывался уже, что происходит это очень быстро, в считанные мгновения, и его ожидает нечто важное, неожиданное. И к этому важному нужно быть готовым. Но сначала — понять!

Странное сообщение в одном журнале, датированное шестьдесят шестым, дало ключ, помогло осознать связь случайных фактов. Восточное побережье Америки. Испытывают систему дальней подводной связи. Антенна длиной в целую милю опущена на океанское дно. Гидрографическое судно принимает сигналы, передаваемые с помощью этой антенны. Сеанс вызывает изумление и замешательство. Приемники судна регистрируют сначала сигнал, потом — запаздывающую на несколько секунд копию сигнала, своего рода эхо. Откуда это эхо? Даже через десяток лет никто из специалистов научно-исследовательского управления ВМС не сможет ответить на этот вопрос. И это не все. Вслед за эхом поступает серия импульсов. Своего рода кодированное сообщение, которое никто не передавал. И никто до сих пор не расшифровал его. Копенкин припомнил, что неизвестные сигналы пришли из глубоководной впадины, из настоящей подводной пропасти. Что было там, в этом таинственном каньоне, скрытом от людских глаз?

Сейчас нет ничего важнее этого факта. Смутное ощущение находки — и вот ясная, простая мысль: только неведомый автомат мог откликнуться по ошибке на земную передачу. Тот, другой автомат. Созданный не нашими руками.

Стоп. А разве эти светящиеся шары в океанских глубинах не похожи на автоматы? Очень похожи. Разве с Земли не уходят в свою очередь автоматы, которые человек запускает в космос? И разве иной разум должен вести себя не точно так же? Нет. Он сходен с нашим. За исключением одного: он пока не заявляет о себе прямо. Почему? Да потому, что достоверный контакт с ним означает изменение во всех сферах жизни и — одновременно — лишение человека возможности выстрадать свой путь на этой планете и в космосе. Погоня за готовыми решениями, за контактами лишит его самостоятельности.

Итак, налицо поколения автоматов, изучающих земные оксаны.

Еще в 1825 году капитан Эндрю Блоксам записал: «Сегодня, 12 августа, примерно в 3.30 утра ночная вахта на палубе внезапно застыла от изумления: все вокруг озарилось светом. Мы увидели на востоке огромное круглое светящееся тело, поднимавшееся примерно под углом семь градусов из воды к облакам. Вскоре оно пропало. Тело было цвета раскаленного докрасна пушечного ядра и по размерам походило на солнце. Оно излучало такой сильный свет, что на палубе можно было найти иголку».

Память вернула Копенкина к земной станции с алюминиевой пластинкой-письмом на борту. От места встречи с ней неизвестного корабля, от того самого голубого светящегося огня протянулись к нам линии маршрутов. Что это за маршруты?

На Землю были посланы новые автоматы? Или... те, другие, сами посетили планету Солнечной? А почему бы нет? Разве не за подобную идею принял смерть на костре инквизиции Джордано Бруно?

Ныне инквизиция безмолвствует. Да и к чему ей публично опровергать каждое сообщение, если сотни добрых дел от науки объясняют в мгновение ока любые факты и наблюдения неожиданным появлением рачков, планктона, светящихся рыб и прочих обитателей моря? Просто. Позиция, неуязвимая во веки вечные.

* * *

Завершая серию оживших голограмм, возникла пластинка. Почти такая же, какую он видел вначале. Только это не было звездным посланием. В изображении он улавливал совсем другой смысл — был он прост и трагичен. Внизу — зеленоватое поле. Блики. Волны. Это море. Выше — небосвод. Копенкин узнал бесцветные скалы, их контуры были намечены. Одна скала выделена — ее контур светился. Та самая скала... Голубая линия. Голубая яркая точка. Что это за точка и почему она двигалась на том поле изображения, которое занимало море?

В общем-то, он догадался уже, что означали линия и точка, но подтвердилась догадка тогда, когда близ скалы появился белый яркий треугольник. Это дельтаплан. Он

двигался, летел. Медленно перемещался аппарат — время было замедлено, наверное, для того, чтобы Копенкин мог уследить за полетом и перемещением голубой точки.

Треугольник планировал. Навстречу ему, немного сбоку, точка тянула голубой свой след. Вспыхнул красный пунктир. Он продолжал линию планирования дельтаплана. Появилась глубина изображения на пластинке. В том месте, где должны были встретиться голубая линия и красный пунктир, точку и треугольник разделяла заметная на глаз дистанция.

Яркий треугольник резко рванул вверх. Это был первый маневр. Копенкин с точностью до десятых долей секунды мысленно разметил участок падения — ведь это был дельтаплан, характер которого он хорошо знал, и схему петли Нестерова он много раз изучал, рисуя вот так же и море, и скалы, и крутую, уходящую вниз траекторию маневра. Парение на спине...

Очень быстро, но все же не мгновенно голубая точка вспыхнула, изменив курс. Ее линия должна была бы прошить треугольник — впечатление было такое, что он падал в море как раз туда, где пройдет голубой объект. Крапинка света вырвалась, показалась над волнами. Но в тот же миг треугольник, словно необъезженная скаковая лошадь, взбрыкнул и круто пошел вниз. Второй поворот...

Голубая точка и треугольник встретились близ скалы. Чужой объект не смог избежать столкновения.

Дельтаплан и светящийся шар, вынырнувший из моря... Аппарат отбросило на скалу.

Треугольник на схеме перевернулся, и его смяло о подсвеченный контур скалы.

Начиная с этого момента Копенкин ничего, разумеется, не помнил. Он лишь следил за цветной схемой. Смятый треугольник сполз в море. Голубая линия, которую тянула за собой точка, свилась спиралью вокруг него. Вот новое место встречи — уже под водой, на глубине десяти-двенадцати метров. Круг белого света... Изображение пропало. Осталась скала, одна скала. И над ней снова неспешно полз яркий треугольник. Вот он достиг края пластинки, пластинка стала совсем слепой. И снова контур скалы и треугольник близ нее. Он движется, летит. Снова все повторяется. И пластинка исчезает из поля зрения Копенкина.

Решающий, повторный момент! Треугольник на схеме продолжал полет. Без помех. Копенкин осознал это. До сих пор он сам почти не существовал, лишь память его работала с утроенной энергией, и никакая ссылка на древние афоризмы не помогла бы ему утвердиться в ином мнении.

Теперь все по-другому... Он, кажется, жил. А жизнь — это не только мысль. Он будто бы нашел опору, шел по сухой, скудной траве. Его вела слабо намеченная тропа. Серые камни выступали среди полыни. Жизнь!

Сухой, прогретый, настоящий на травах воздух расправлял легкие. Ноги, руки, все тело радовалось теплу. На нем были спортивные ботинки со шнурками. Тропа раздваивалась. Если свернуть, попадешь в низину с густой зеленыю, за ней лавандовое поле, еще дальше — маяк и только за ним, за низким мысом, — море. Пойдешь прямо — обрыв. Неровная кромка камней и вода. Он пошел туда.

И тут же понял, что произошло событие, на которое он надеялся все эти долгие мгновения. Ему вернули не только жизнь, но и дельтаплан! Он сжимал ручку управления, проверял на ходу крепления. Все в порядке. Но только в воздухе, увидев знакомые скалы, он окончательно уверился в том, что это не сон.

Он летел навстречу морю. Отдалялось, забывалось, тускнело только что пережитое. Возможно, этого не было. Ничего не было: ни черного мешка, ни шаров, светящихся жемчужным и красным светом, ни собственных его воспоминаний.

Нужно было действовать точно и быстро. У второго камня отдать ручку аппарата резко вверх. Дельтаплан поднимет нос рывком. Дожать ручку, выпрямить ноги и заставить аппарат перевернуться на внешнюю поверхность крыла. Потом — «сухой лист», скольжение, парение на спине. И еще один маневр — решающий: пилот снова под крылом.

Схема Копенкина резко отличалась от той, которую только что нарисовал инопланетный кибернетический мозг, но несмотря ни на что она по-прежнему не отличалась от летли Нестерова.

Как много лазури и света вокруг... словно давняя детская мечта о просторе стала явью. Далеко-далеко простерлось море, непроницаемая у горизонта вода сменялась полупрозрачной, ближе к берегу темная рябь была как легкий палет на голубой эмали. А главное — дыхание ветра. Музыка ветра, едва слышная, волнующая. Ей подчинялись струи морских течений, серо-зеленые выцветшие травы в степи за спиной Копенкина, справа и слева от него. Корявое дерево на белых камнях скалы, старое и уродливое, шелестело листвою.

Глубокий вдох. «Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный!» Полет!

ЧЕТЫРЕ СТЕБЛЯ ЦИКОРИЯ

Пронзительно-ясно обрисованы белые глыбы на крутом склоне, прерывистая нить ручья, плес в ложине — и над всем этим по законам перспективы ты, твоё лицо, твои косы. Ветер мнет куст ветлы, шепчет имя — Настя. В моей руке скользит, обвиняя ее, живой выюн. Я стою на подводном камне, чтобы не замочить закатанных до колен брюк или, быть может, чтобы казаться выше. Мы оба следим за выюном, и взгляды перекрещиваются и соприкасаются. Тайна этой минуты уходит, и остается в памяти холодная рыба кожа, темный извив на запястье, подрагивающий хвост.

К обрыву под холмом прилепилась печь для обжига известняка, она высилась, как башня, и мы обходили ее стороной. Только раз взбежали мы на круглый верх печи, отдохавшей от работы. Прикладывая ухо к кирпичной кладке, вслушивались в странные вздохи, доносившиеся из чрева.

Тогда это и произошло. Настя сорвалась вниз. Я замер. Словно не я, а кто-то другой смотрел, как она падала. Как же это... Настя, Настя! В руке она сжимала цве-

ты — четыре стебля цикория. У пода печи смертельный полет ее прервался. Она парила, как птица, над луговиной. Подол ее платишка расправился. Или мерещилось мне это? Нет! Настя мягко опустилась на ноги и вот, живая и невредимая, стоит внизу и растерянно улыбается одними губами. Колдовство.

Я же видел, как она сорвалась, как билось ее платье, как беспомощно раскрыла она рот, собираясь, наверное, что-то сказать или крикнуть! И потом — невидимые руки будто бы поддерживали ее и медленно, бережно опустили на землю. Трижды волшебна эта минута: бегу к Насте, захлебываясь от радости, кубарем скатываюсь к ее ногам, притрагиваюсь к ее плечу и замолкаю. Настя протягивает мне цветы — четыре стебля цикория. Целовко принимаю букет. Беру ее за руку. И тайна этой минуты уходит и остается в моей памяти.

Точно сквозь матовое стекло проявляется прошлое. Бабкин палисадник, ленивый белый кот у крыльца, огненно-красный петух на деревянных перилах, ветла со скворечником. Школьные каникулы в деревне...

Утро. Вечер. Утро. Дни, как стекляшки в мозаике, разного цвета: зеленые, голубые, ярко-желтые от солнца.

— Это правда, что ты козу доить умеешь?

Настя улыбается, а я густо краснею. Опускаю голову, потом искоса наблюдаю за ней. Она не смеется, нет, глаза ее, серые с синевой, смотрят серьезно, и только губы сложились в улыбку — так умеет только она, деревенская девочка из соседней слободы.

— Я помогаю бабке, — говорю я. — Она старенькая и устает в поле. И еще готовит мне обед.

— Смотри, какой!..

Мы идем врозь, я делаю вид, что отворачиваюсь от ветра. Она сама подходит ко мне, берет за руку, тянет за околицу — там волны хлебов в сизом цветне и тропа, ведущая к нашему ручью, к озеру.

...Двое у опушки леса. Держатся за руки. Яркий прощерб падучей звезды над головами, зеленоватое послезакатное небо. Потом один из этих двоих предаст другого. Это буду я. А пока они вместе. И если вслушаться в слабые шорохи, кажется, удастся разобрать слова. «Тих и спокоен край, в себе он замкнут: две створки — озеро и небосклон, как жемчуг, в раковине драгоценной мир

заключен.— Вон месяц: спрятался, а сам забросил над ветлами серебряную сеть, он ловит звезды, но едва за-светит, чтоб осмотреть улов, как мигом в сети попался он.— Ты смотришь в небо? — Да, звезда упала, блеснув светлей.— А я звезду на озере увидел, она летела к небу от земли, твоя звезда вниз с неба полетела навстречу с ней».

Теплое июльское утро...

Листья хмеля за стеклом горят зелеными огнями на солнце, я приоткрываю окно, сдерживаю дыхание, потому что вижу у палисадника Настю. Рядом с ней двое сверстников, и один из них, повернув голову к окну и не видя еще меня, кричит:

— Выходи!

Толкаю оконную раму, хмель тревожно шуршит, с листа срывается крапивница и взмывает до конька крыши. Прыгаю из окна на мягкую землю, расталкиваю высокие мальвы, бегу к изгороди. Стараюсь быть впереди, когда мы выходим на дорогу, ведущую к ручью.

В руке у Насти стеклянная банка с крышкой: если мы поймает окунька или вьюна, она принесет его домой, и он будет жить в банке, пока лукавый белый кот не выловит его проворной лапой.

— Настя, дай понесу банку! — говорит Сергей.

— Нет, я, моя очередь!

Я подхожу к Насте и протягиваю руку, и его рука и моя рука встречаются с ее рукой, мы отталкиваем друг друга, и дело неожиданно доходит до драки. Мы катаемся по траве, выкатываемся на колею и, наконец, серые от пыли, встаем, а Настя укоризненно качает головой и советует посмотреть в зеркало.

Вдруг кто-то предлагает идти пшеничным полем. И мы сворачиваем на тропу, желтые стебли и колосья бьют нас по рукам, еще минута — и мы, забыв об осторожности, сходим с тропы, собираем колоски, на ладонях наших остаются теплые беловатые зерна, вкус которых нам хорошо знаком. И тогда появляется далекая тень на тропе. Короткий вскрик:

— Объездчик!

Мы бросаемся врассыпную. Настя бежит за мной. Я вижу, как стремительно приближается к ней конник с плеткой в руке. Останавливаюсь. Потом что-то словно

подталкивает меня, я бегу назад, успеваю схватить Настю за руку, мы падаем, и я закрываю ее от удара. Свист плетки, мгновенный страх, заставляющий вжаться в сухую землю, повторять про себя: «Мы серые мыши, серые мыши. Никто не увидит серых мышей!»

Когда мы поднялись, не было ни объездчика, ни страшного вороного коня. Палетел порыв ветра и пригнул желтые стебли к земле. И снова — тишина.

Позже, студентом уже, я прочел стихи. О Насте из-под Венева. Но тогда я не понял этого...

«В садах, на полянах, в цветах укрываясь, в туманах теряясь, зарей озаряясь, во всем божьем мире, в любом кратком миге была ты везде и повсюду.

Зефиры носили над этой землей твоё имя; листвы шелестенье и рокот волны, обдавшей камешья, — все было дыханьем дыханья, рожденного только устами твоими».

Я знаю эти стихи наизусть. Написаны же они кем-то в начале века.

«На небе вечером средь звезд я, бывало, твои лишь выписывал инициалы, а если глаза опускал к горизонту — в мальчишеских грезах меж стройных березок выискивал взором твой мягкий девический контур.

Повсюду бывая, незримо везде успевая, во всех моих мыслях, желаньях, — ах, где ты ни пряталась! — тобою душа моя наполнилась вечно, любовь из нее изливалась к тебе бесконечно, как слава святых озаряет их святость».

Снова увидел я Настю в пятьдесят седьмом, когда приехал к бабке на студенческие каникулы. Поезд гуднул за спиной и ушел к Узловой, а я выбрался на большак, за пять минут прошагал километр, свернул на знакомую с детства тропу, где к ногам жался пыльный подорожник, и скоро увидел провор у бабкиного дома. Бабка моя, Александра Степановна, была уже на ногах, хотя едва-едва занялась заря над Тормосинской слободой и над прудом еще стелилась рябина тумана. Я поцеловал бабку, передал ей подарок — сверток с ситцем, проводил ее в поле на работу, потом долго сидел на крыльце; в десяти шагах от меня носились низом шальные деревенские ласточки, садились на камни, выступавшие из низкой гусиной травы, взлетали, показывая острые углы крыльев на полотнище зари. Я умылся, надел новую, недавно купленную матерью рубашку, пошел к той самой слободе, где встречал

Настю когда-то. И увидел ее, и узнал, но прошел мимо, словно застенчивый преступник.

Вот она, эта минута. С беспощадной ясностью до сего дня вижу Настю склоненной над старым деревянным корытом. Она синит белье. Высокие малявы укрывают меня, за белыми крупными цветами — ее платье, ее ко-сын-ка, босые Настины ноги. У калитки палисадника — плоский камень. Бревенчатая стена дома посерела от дождей и невзгод. Из-под соломенной крыши вырывается ласточка. Я замедляю шаг. Тихо. Едва слышно плещется вода в корыте. Мгновение — и я прохожу мимо, не окликнув ее. Нет, в голове моей не успела сложиться определенная мысль. Я стал другим — вот и все.

Вскоре я уехал — молча, не сказав ей ни слова, так и не повидав ее. А она осталась в селе, над которым, как и раньше, поднимались крылья огнистых закатов, густели ночи — с запахами кошенины и полыни, с теплыми ветрами, с мимолетными вспышками июльских зарниц.

* * *

Наверное, есть в окружающем нас пространстве особый невидимый механизм времени. Чаша небосвода обманывает нас: там, где светятся красные, зеленые, желтые и синие огни, самих звезд уже нет. Они переместились на миллиарды километров, оставив запоздалые следы свои — призрачные светляки. Профессор Козырев, открывший вулканы на Луне, направил телескоп на пустое вроде бы место: в черную, ничем не примечательную точку. Он, правда, вычислил, что именно там должна находиться сейчас звезда. И получилось вот что: под стеклом прибора коромысло тончайших весов вдруг отклонилось. Оставаясь незаметным глазу, далекий огненный шар подтолкнул чашу весов, уравновешенную гироскопом. Звезда дала о себе знать. Пронизывая прошлое, настоящее и будущее, невидимая сила заставляет все и вся изменяться: свиваются спирали-орбиты планет, приближаясь к светилу, вспыхивают на солнечном диске искры, появляются и исчезают пятна, ритмы их передаются Земле.

Не солнечные ли циклы будят и мою память?..

Минуло одиннадцать лет. Рано утром сели мы в электричку, вышли на станции, название которой не сохрани-

лось в памяти, прошли луговинной с километр, на опушке леса развели костер. Было нас семеро — трое бывших студентов (вместе со мной), четверо девушек в соломенного цвета куртках, брюках, легких свитерах. Один из нас ушел с удочками к озеру и вернулся с большим сазаном. Сварили уху. Искупались. К вечеру транзистор расплескал целое море звуков. Танцевали на траве при чистом ясном закатном свете. Лицо девушки, обвившей мою шею, было пунцово-алым в закатном свете, глаза — темными. Голоса и смех — и тревожно черпел гребень леса над холмом. Потом все переменялось. То ли усталость была тому виной, то ли необыкновенный, настоящий на травах воздух. Я вышел из круга и побежал на холм. Над маковкой его еще висело солнце, а у подошвы его сгустились тени. Подняв руки, я поймал странный мягкий свет заката. Мир менялся, становился неузнаваемым.

И тогда я увидел ее, Настю. Там, где скат холма был круче, мелькнуло ее платье. Наверное, она только что упала с обрыва. И как тогда, я стоял, и медлил, и молчал, и ждал. И снова что-то во мне встрепенулось и оборвалось.

Кто-то взял меня за руку, кто-то спрашивал, что со мной, а мне нужна была добрая минута, чтобы вернуться к друзьям.

И до слуха моего, как сквозь сон, донеслось хлопанье крыльев птицы, взлетавшей кругами над загривком холма. Чей-то насмешливый возглас:

— Его напугал коршун!

И в багряном небе, там, где смешалось алое, желтое, зеленое, над головой моей беззвучно кружили два широких распластанных птичьих крыла.

...А колесница времени мчалась, мчалась, и я предъявлял пропуск и проходил на полигоны, где беззвучно, незримо светили в небо радары и взмывали ввысь ракеты с огненными хвостами. Позже, на втором круге колесницы времени, я показывал билет журналиста, и передо мной открывались двери институтов и лабораторий, библиотек и заводов. Потуги сменить профессию, окончившиеся, к сожалению, успешно. (Настеньке же не дали и паспорта, чтобы поехать в город. След ее затерялся в вихревой мгле времени.) Прижавшись порой лицом к стеклу городской квартиры, я шепчу стихи. «Меня защищает от прежних

нападок пуховый платок твоего снегопада...» Но как может защитить пуховый платок снегопада, если предательство совершено?

* * *

Почти всегда далекий свет воспоминаний меркнет, едва успевает открыться зеленый простор холмов, призрачное мелькание белых мотыльков над крапивой, чистые голубоватые плесы. И вот снова и снова желтые глаза улиц, огни далеких станций, ночные аэродромы, экспедиции и командировки. И встречи, и размышления, и усталость. А дома по вечерам — тусклое отражение в зеркале моего лица, исхлестанного друзьями и недругами. И немой вопрос, обращенный к себе, остается без ответа.

Но память снова вернула меня в далекий день...

Вечером я шел по улице с вечеринки, где много говорили о книгах, работе, о пустяках. Об открытиях, которые изменяют будущее, иногда — настоящее. И в такт моим шагам чей-то голос повторял: «Они изменяют и прошлое». А я возражал: «Нет. Всего-навсего оценку прошлого».

И подумалось, что в нас может проснуться и заговорить одна-единственная клетка, доставшаяся нам по наследству даже от палеозоя. В этот вечер я заблудился: поднимались незнакомые дома с темными глазницами окон, фонари погасли. Я проплутал часа два, пока не вышел к знакомой улице. Дул сырой ветер. Дома по какой-то неожиданной ассоциации я вспомнил чистое озеро моего детства с водой цвета опала, светлый песок, движение рыб в глубине — среди замшелых коряг, стеблей тростника и стрелолиста. Сжав голову руками, увидел будто наяву девочку над обрывом. Но теперь это было иначе: Настя была уже у самой подошвы холма, и мне казалось, что вот-вот она ударится о землю. словно нужно было десять лет без малого, чтобы она пролетела несколько метров. словно медленный бег колесницы времени мне был до сих пор недоступен и я лишь наблюдал мелькание спиц.

...Сон. Закрыв глаза, ныряешь в глубину, где медленно несет тебя холодный придонный поток, цепляешься за камни, чтобы дольше проплыть. Еще миг — и темнеет дно. Открыв глаза, различаешь зеленую дернину на противо-

солнечном его скате, красные летучие огни рыбьих плавников, клубящуюся муть ключа в песчаной воронке. Обшариваешь рачьи норы — и мокрой головой раздвигаешь хрупкие ветловые ветки.

Сон относит меня на три солнечных цикла. Я иду проселком, сворачиваю на тропу среди хлебов, взбираюсь на знакомый холм.

О, я догадываюсь, что там должно произойти. Вот и знакомая печь для обжига известняка. Настя уже наверху, и я задыхаюсь, спешу к ней. Понимаю, что опоздал. Сбегаю вниз. Она упала, но я успеваю подставить руки. Ловлю ее, опускаю на землю. И сразу же, как это может быть только во сне, холм исчезает. Поднимается ветер, набегают облака — я не узнаю окрестность. Я силюсь вернуться туда — и не могу найти дорогу.

Но сон продолжается.

Память не просто вернула меня в тот день. Нет, она словно сделала петлю: я был и здесь и там одновременно. Два мгновения... Первое: обрыв под зеленым загравком холма, падающая девочка. Второе: я подставляю руки, ловлю ее, опускаю на траву. Она протягивает мне букет (мне ли?) — четыре стебля цикория.

И потом я силюсь сообразить (и тоже во сне!), как такое может стать. И вспоминаю, что и на расстоянии можно воздействовать биополем, можно передвигать предметы силой взгляда, преодолевать время, переноситься в пространстве — телепортироваться. Но если моя энергия проявилась случайно там, в прошлом, то и оттуда в наше сегодня тоже должно что-то перейти. Да, я думал и думаю, что энергию можно уравновесить массой. Тогда должно появиться нечто оттуда, из того давнего дня. Случай особый, редкостный, но лучше уж допустить взаимопроникновение, чем двойную телепортацию: в пространстве и времени. Этим и кончился странный сон.

Просыпаюсь. За окном дрожат листья от ударов капель. Низкая туча закрыла небо. Слепой рассвет. От мокрых клейких листьев в комнату прокралась тонкая пахучая сырость. Двор за окном зелен и сумрачен. Но утренняя вереница машин уже начала свой неотразимый бег, и с дальнего шоссе доносится приглушенный гул. Что-то случилось со мной. Я встрепенулся: рядом, на столе...

Что это?.. Пучок сухой травы. Изумленно рассматриваю его. Четыре стебля цикория с высохшими добела цветками. Прикасаюсь пальцами — и ощущаю точно покалывание. Колет ноги скошенный луг; колки сухие стебли цветов, а если осторожно взять их в руки, то они шуршат и позванивают; чуткое ухо способно уловить звуки.

«Тих и спокоен край, в себе он замкнут: две створки — озеро и небосклон, как жемчуг, в раковине драгоценный мир заключен...— Ты смотришь в небо? — Да, звезда упала, блеснув светлей.— А я звезду на озере увидел, она летела к небу от земли, твоя звезда вниз с неба полетела навстречу к ней».

У каждого есть затаенная сила, которая проявляется как порыв, как действие, но чаще — невидимо, незримо для других. Колесница времени описала невообразимо широкий круг — и вернулась, и я коснулся ее. А может быть, поймал взглядом ее тень. Все, что я мог сделать. И для того чтобы воочию увидеть тот день, должно было миновать три солнечных цикла. Теперь я знал, кто поддерживал тогда Настю над обрывом. Оттуда, из вихревой мглы времени, невидимо, незримо я вынес четыре сухих стебля цикория, уравнивавших энергию.

...Букет Насти почти невесом. Для меня это последняя весть из прошлого.

АЛЬКИН ЖУК

Нужно было возвращаться в город. Потому что солнце уже покраснело и по траве ползли длинные прохладные тени. Красотки еще хлопали синими крыльями, но самые маленькие стрекозы-стрелки — уже спрятались, исчезли.

Мы с Алькой прошли за день километров пять по берегу ручья и поймали жука. Теперь Алька то и дело подносил кулак к уху — слушал. Жук скрежетал лапками и крыльями, пытаясь освободиться. Еще час назад он сидел на пеньке, задремав на солнышке, и Алька накрыл его.

Никогда не видел я таких жуков! Полированные над-

крылья светятся, как сталь на солнце, лапы словно шарпиры, усы — настоящие антенны.

— Знаешь, это совсем не жук,— сказал Алька серьезно.

— Да, мне тоже так кажется,— сказал я, безоговорочно принимая условия игры. Но я слишком быстро и охотно это сделал. Альку не проведешь: хитрюга в мать.

— Я серьезно, а ты...

Он не закончил. Замолчал, замкнулся. Дети — маленькие мудрецы, все чувства на лице, зато мыслей не прочтешь.

Мы медленно шли к дому вдоль ручья с цветными керосиновыми пятнами, мимо куч щебня и цемента, заборов и складов говарной станции. Мы перешли железнодорожное полотно, деревянный мостик через канаву, на дне которой валялись так хорошо знакомые нам старые автомобильные баллоны, ржавые листы металла и смятая железная бочка. Лесопарк уступает место городу постепенно. Эта ничейная земля нравится и Альке и мне. Мы всегда останавливаемся на мостике, словно ждем чего-то...

Солнце катилось по самым крышам. Последние лучи еще грели руки и лицо. Издалека доносился гул, стучали колесами поезда. Над полотном дороги дрожали фиолетовые и красные огни. Раздавались гудки. Такие дни очень похожи друг на друга.

— Жук стал теплым,— сказал вдруг Алька.

Я потрогал. Жук был очень теплый. Алька объяснил:

— Я читал книгу про марсиан. Они как кузнечики, сухие, с длинными ногами. Или как жуки.

— Это фантазия,— сказал я.— Никто не знает.

— Фантазия всегда сбывается. Разве ты не знаешь?

— На Марсе нет жизни, там очень холодно.

— А на других планетах, у других звезд — там тепло...

...В моих руках стеклянная банка. Вечером Алька посадил туда жука, накрыл ее чайным блюдцем, поставил на окно. Мы молчим, хотя Алька мог бы повторить все, что он говорил по дороге домой. Но теперь мы знаем, что это очень серьезно. Банка пуста, за ночь в ней появилось отверстие с ровными оплавленными краями. С полтинник, не больше. Мы оба понимаем, что ждать продолжения этой истории придется, вероятно, очень и очень долго.



...Весна пришла поздно. Мартовское солнце днем здорово грело, и тогда оттаивала грязь, в лужах всплывала прелая трава, прошлогоднее гнилье. Иногда же, особенно вечерами, с неба спускался холод, и земля застывала.

— И все-таки весна хорошее время, — говорил я в один из таких вечеров своему другу Саше Колоскову, начинающему писателю.

— Весна ужасна, — возражал он. — Каждая лужица, каждый сантиметр асфальта кишит микробами. Мне кажется, я вижу их и без микроскопа.

Он забежал ко мне на минуту и узнал, что Алька болен. В квартире было непривычно тихо, потому что и Алька, и его мама на время болезни перебрались к бабушке, которая ухаживала за обоими.

— Это опасно? — спросил Колосков.

— Врач говорит — воспаление, но не опасное. Да... Алька просил принести книжицу. Почитать. Но я не смог ее найти.

— Что за книга?

— Ему читала мать. Очень давно. Он уже не помнит.

— Ни заглавия, ни автора?.. О чем книга?

Я задумался. Жена рассказывала мне, что по ночам Алька бормотал о книге про маленьких человечков. Кажется, она даже вспоминала отдельные страницы, но этого было слишком мало для того, чтобы разыскать книгу. Она спрашивала Альку: «Может быть, это книга о лилипутах?» — «Нет, о лилипутах я знаю». — «О Дюймовочке? О Карлсоне?» — «Нет».

— Эта книга о маленьких людях, — сказал я, — но не сказка. Сказки он знает лучше нас. Скорей, фантастика. Это не Ларри, не Брагин. Насколько я понимаю, человечки живут только сутки: утром рождаются, утром же умирают. Из песчинок построены их дома. Железо, которое они выплавляют, во много раз прочнее нашего. Стекло тверже алмаза. Что еще?.. Ах, да, они охотятся на цветочных мух, мотыльков, ос, за это пчелы дают им мед. Они храбрые охотники, хотя ростом не больше обычной булавки.

Мы стояли у темного окна, от которого пахло холодным стеклом. Пришел час, когда звезды спускались поближе к земле.

— Но главное вот в чем, — продолжал я. — Может

быть, ты уже слышал о том, как мы поймали жука? Нет? Так вот...

И я рассказал ему историю с жуком, о котором, по словам Альки, тоже написано в книге.

— Дело в том, — сказал я, — что действительность смешалась с вымыслом. Он сам искренне верит тому, о чем рассказывает. Да, мы поймали странного жука. Случай необычный. Но Алька уверен, что жуки помогают маленьким людям. Они как будто бы живут на одной планете очень далеко от Земли. И человечки не смогли сами прилететь к нам в гости — путь очень долгий. Но жуки чем-то похожи на роботов; своим появлением они, во всяком случае, обязаны маленьким людям, и живут они долго. Можно ли представить лучших исследователей и одновременно хранителей знаний? И Алька так привык к этой мысли, что, кажется, даже ночью разговаривает с ним... с жуком. Нет, я не слышал, но Алька говорил мне, что у него очень тихий голос и он один может его понять. Да... Это, видишь ли, потому, что Альке ведь нужно знать самые простые вещи. Ну, например, живые жуки или нет, существуют ли человечки или нет, далеко ли их планета. И на эти вопросы он как будто бы ему ответил... оставаясь невидимым. Но в последнее время жук стал появляться все реже, и Алька, как бы лучше сказать... боится потерять его, что ли. Он уверен, что в книге все это написано, и хочет перечитать ее, понять... И еще он ждет лета — в тот же день, седьмого августа, жук обещал прилететь к ручью.

...Через несколько дней Алька листал книжку с картинками. В ней рассказывалось и об охоте на муравьев, и о водяных каплях величиной с окно, и о разных небывалых травах, и обо всем, что он привык считать чистой правдой.

— Как тебе удалось сфабриковать это? — в тот же день спросил я Колоскова.

— Издательство помогло. Алькину книгу, как ты и сам догадываешься, никто не мог вспомнить, потому что, скорей всего, ее попросту не существует. Пришлось написать заново. Знакомый наборщик, друг редактор, два-три вечера самому пришлось быть подручным в типографии — и вот результат: книга в одном экземпляре, уникальная вещь. Книга для Альки. Обрати внимание на виньетки: они выполнены тушью, вручную.

— Но Алька узнал книгу? Как это объяснить?

— Ты сам рассказал содержание с его слов! — удивился Колосков. — А истина, художественная правда — она ведь одна. Даже в фантастическом произведении.

— Ну-ну... Положим, ты несколько преувеличиваешь, — начал я спор, в котором, впрочем, мы оба вскоре запутались.

...Теплым летним вечером мы снова встретились. Алька пил чай, потом стал баловаться, выложил варенье из банки в блюдце, налил туда чаю, размешал смесь ложкой и опрокинул на себя. Я отправил его в другую комнату и долго спорил с Колосковым о Репине и Кандинском. В наших взглядах не было, как говорится, ни одной точки соприкосновения, хотя и делить как будто нечего: он писатель, я художник. Мы когда-то и сошлись близко из-за неудавшейся совместной работы, послужившей первопричиной бесконечных дружеских споров. И каждый из нас решил для себя: дружба — да, но сотрудничество — за какие грехи? Ведь истины, рождающиеся в спорах, обходятся слишком дорого.

Наконец ему надоело спорить. Он распахнул окно. Пахло землей и травой. Вдали раскинулся лесопарк. Колосков вдруг спохватился:

— Как это ты сразу догадался тогда, что книгу написал я?

— Видишь ли, — ответил я, — наши друзья из издательства попросили меня сделать несколько иллюстраций. Но пойми меня правильно, — добавил я, улыбнувшись, — до поры до времени им удавалось скрыть от меня, что ты автор текста.

— Что ж, значит, мы можем работать вместе. Кстати, где книга, интересно бы еще раз взглянуть, да к тому же сегодня седьмое августа, помнишь?

Конечно, ни я, ни Алька ничего уже не помнили. Он, оказывается, забросил книгу в угол с электрическими игрушками, и она валялась там, покрываясь пылью, — осиротевшая растрепанная бумажная вещица, служившая иногда искусственным препятствием для космического вездехода. И эта книга, с которой он еще три-четыре месяца назад не расставался!

— Алик... — начал было я укоризненно.

— Ничего, ничего, — сказал Колосков, — это вполне

естественно, я и сам вспомнил о ней случайно. А ведь сегодня, братцы, седьмое августа. Раскроем книгу...

И мы прочли:

«Жук сказал: «Я прилечу седьмого августа на то же место у ручья, жди меня». Потом расправил крылья, взлетел и, повисев над поляной, полетел вперед, поднимаясь выше, выше. Как маленькая ракета летел жук, потому что он знал секрет светового луча. А луч не только плавит стекло — он может давать и движение».

Самое удивительное заключалось в том, что мы нашли книгу, вновь вспомнили о жуке именно в тот самый, нужный нам день.

— Я знаю, — сказал Алька, — это он подсказал незаметно... Да, жук. Пойдем в парк.

И мы пошли в парк.

И опять мы проходим мимо такой знакомой нам старой товарной станции, где на вросших в землю рельсах стоят бурые покосившиеся вагоны. И рядом зарылся в землю, точно мамонт, облезший, ржавый паровоз. Потом приближаемся к деревянному мостику через канаву, на дне которой прибавилось за год два автомобильных баллона и помятое велосипедное колесо, похожее на мухомор. Прежде чем ступить на ничейную землю, мы с минуту стоим на мостике.

Вот и поляна. И ручей. А там знакомый пенек, ставший серым от дождей и давних зимних морозов. И на пне, точно на маленьком аэродроме...

— Жук!

Голос Альки звенит. Колосков тащит меня за рукав туда, где расправляет крылья большущий жук, отливающий светлой сталью. Я сопротивляюсь, случившееся заставляет меня задуматься очень и очень серьезно. Выходит, что... Я не нахожу слов.

— Алик! — кричу я, потому что он уже протягивает руки.

Но нет! Алька и сам знает, что мешать ему нельзя. Жук расправляет крылья, взлетает, с минуту висит над поляной, как бы прощаясь с нами. Потом летит вперед, поднимаясь выше и выше. И в воздухе белой молнией сверкает луч. Мы знаем, мы уверены: этот луч может пронести его через бездны времени и пространства.

ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первый разговор о встречном времени

С памятью происходит иногда что-то странное. Как будто начинает проявляться старый негатив. Снова вдруг видишь костры, на которых мальчишки жгут осенние листья, и отчетливо слышишь забытые голоса, а закроешь глаза — снова тепло застывшим рукам.

...На песчаных осыпях мы подбирали желтые камни и разбивали их — там прятались прозрачные кристаллы. Мы искали железо, золото, алмазы. И находили. Позже мы говорили о ракетах, о звездах и о планетах, о машине времени, даже не подозревая, что мы сами — путешественники во времени.

Мы все прибыли из того времени, где острые травы не ранят пальцев, а ноги не боятся камней и пивок. У нашего времени одно направление — вперед! Попробуйте вернуться хотя бы на минуту — ничего не выйдет.

Время похоже на пассажирский состав: за окном проплывают деревья, дома, люди... Постукивая колесами, посвистывая, везет нас поезд вперед, вперед, вперед...

Но почему мы не забываем о начале пути? Почему воспоминания порой не только не гаснут, но, наоборот, становятся словно четче, сильнее?словно есть другой поезд, мчащийся навстречу, наконец в какой-то миг поравнявшийся с нами и ушедший в наше прошлое, в старое время. И как будто есть в этом поезде кто-то похожий на нас, очень похожий, наше второе «я», и с ним мы связаны тонкой нитью мысли.

...Еще года два назад я подтрунивал над Сафоновым, потому что мир с единым временем казался мне простым и незыблемым.

В один из вечеров я впервые задумался о встречном времени.

Я не очень верил тарабарщине об инвариантности и ковариантности. Но сама мысль о мире, невидимо пронизывающем наш мир так, что у каждой травинки, каждой

песчинки есть двойник, живущий наоборот, неожиданно показалась мне поэтичной и немного странной.

В тот памятный вечер мы сидели у раскрытого окна. Уличные фонари уже погасли, и на светлом пепельном небе зажглась голубая звезда. Разговор как-то выдохся. Мы молча смотрели, как из-за соседнего дома выползала круглая белая луна. Листья тополей тихо позванивали, и теплые волны воздуха доносили до самого окна этот зеленый шум.

— Значит, можно встретиться с будущим? — спросил я.

— Да, можно. Но только раз.

— Как два встречных поезда?

— Да, как два поезда.

Не будь Валька моим другом, я, может быть, поверил бы ему гораздо раньше. Но ведь когда-то мы бегали с ним вместе на лекции и за одним столом вычисляли криволинейные интегралы, поэтому я отнесся к его идее как к своей собственной — скептически. Мало ли мыслей бродит в голове каждого из нас? А тут, собственно, и идеи никакой не было. О встречном времени где-то уже писали, чуть ли не с благословения самого Дирака — одного из отцов современной физики.

Теперь-то я понимаю, что идея все-таки была: доказать экспериментально существование такого мира. Можно мысленно проследить свой путь во времени, встреча с двойником должна состояться в середине пути. В этот короткий миг обозначатся прошлое и будущее, но удастся ли поймать его, почувствовать, осознать?

— Ты ошибаешься, Влах,— сказал я, — встречное время — это легенда, не больше. Если и существует такой мир, то он навсегда останется для нас невидимым и неосязуемым.

Он молчал. Мне стало жаль мечту, которую он не мог защитить. Захотелось верить в нее... изобрести что-нибудь, наконец.

— Ты смог бы,— спросил я,— представить мелодию в обратной записи? Мне кажется, «музыка наоборот» — это какофония.

— То же самое сказали бы те, из другого мира, если бы... понимаешь?.. А это мысль! — Он оживился. — Обратная запись — мысль! Нужно только немного переде-

лать магнитную головку, тогда можно все воспроизвести. У тебя ведь был магнитофон?

Я достал магнитофон и посмотрел на часы. Было без четверти час. Хотелось спать. Я понял, что его так взбудоражило. Мы ведь не зря спорили о симметрии и квантовом обмене. Ему хотелось поймать радиосигналы наших двойников. Но что такое их голоса или музыка? Бессмысленный шум, все звуки следуют в обратном порядке. И потом, искажения, неизбежные пропуски, замирания сигналов — кто учтет это? Если только эти сигналы можно услышать вообще.

Но на магнитофоне можно все-таки попытаться записать сигналы и пустить затем ленту обратным ходом. И если удастся услышать хоть одну музыкальную фразу, хоть обрывок разговора на русском, английском, турецком, японском... Только бы услышать! Вот что я вдруг прочел в его глазах.

Он верил и не верил. У него было очень серьезное лицо, волосы упали на лоб, и на правой руке вздулась и дрожала синяя жилка. Удивительно, что эта простая мысль никому раньше, по-видимому, не приходила в голову. Он снял крышку магнитофона, щелкнул клавишами, настроил приемник на какой-то вибрирующий звук. В черном квадрате окна плавали красные и синие огни, потом окно качнулось, деревья загородили звезды. Я почувствовал под головой подушку. Он обернулся ко мне и что-то сказал.

— Да, да, оставайся, Влах, — ответил я наугад, — свет мне не мешает.

Во сне мыслят образами. Прошное — это мой Синегорск и солнце в зеленой траве. Будущее — как далекое облако у горизонта. Наше будущее — это чье-то прошлое. Все ясно и просто.

Валька сидит ночь напролет, в комнате горел свет, и потому-то, наверное, ночь превратилась в летний вечер, когда ветер поднимает с дороги облачка пыли и они бегут до самого дома, а там ждет мать, которая, оказывается, вовсе не умерла давным-давно, а жива и здорова. Вот уже хлопотливо собирается чай на старом деревянном столе, а у окна стоит и улыбается большеротая, длинноногая девчонка.

Еще один вечер, но совсем другой. Сентябрь. Далекие звонкие голоса. Гудки. На столе письмо. Пытаюсь угадать,

чье письмо, и не могу. Стараюсь припомнить... Догадаться... Или забыть?

Кто-то теребит за плечо:

-- Вставай, вставай, старая дохлятина, кое-что расскажу.

— Как дела? — спрашиваю я.

— Сейчас увидишь. Вставай, опоздаешь на работу.

Он поставил самую удачную ленту. Я услышал смесь ударника и тромбона.

— Это не то. Это прямая запись. Роуз, современная пьеска для джаз-оркестра. Дальше, слушай дальше.

Звук был очень слабый. Что-то сказала женщина — совсем тихо, голос почти растворился в тишине. Я замер. Но пошла опять какая-то мешанина. Шум, свист, гром...

Так уходит мечта...

В то утро, когда мы впервые услышали обратные радиосигналы, мы договорились о четкой «программе исследований». Впрочем, это было бесполезно. Второй вечер был похож на первый. Помню руки Сафонова, и кольца магнитной ленты, и горку кассет, и он говорил, говорил, а я не то помогал, не то мешал ему. Много записей было пустых — шум в прямом и обратном направлении. Мы стирали все с таких лент и записывали снова. А потом слушали. Два-три осмысленных слова, по-моему, еще не означали, что мы слышим наших двойников. Из случайного набора звуков тоже иногда рождается слово или мелодия. Правда, очень и очень редко. Но во что легче поверить — в существование мира со встречным временем или в то, что из шума случайно составила подходящая комбинация звуков?

Мы не поймали больше ни звука. Эфир молчал. Может быть, мой радиоприемник был слаб, а может быть, самые обычные шумы и передачи радиостанций совсем заглушали сигнал — этого мы не знали. Да и где был этот встречный мир — далеко или рядом?

Несколько дней Влах работал до утра. Он приходил, включал приемник, и начинались настоящие поиски, напоминающие радиоигру «охота на лис».

В конце концов мы запутались в записях и потеряли

ту самую первую ленту с одним-единственным обрывком фразы.

Влах отнес мой приемник в институт и что-то с ним сделал. Теперь хорошо различались все шумы, даже шум электронов в лампах, похожий на стук сухих горошин.

В тихие погожие ночи мы вслушивались в ставшие такими привычными звуки. Но это были мертвые звуки — как шепот далеких морских волн в пустой раковине.

А утром на работе я ставил локти на стол, подпирал голову руками и — буду честен — дремал так до тех пор, пока локти не разъезжались в разные стороны.

— С добрым утром,— сказала мне однажды после этого шустрая Верочка, которая вообще обращалась со мной так, как будто я был ее однокашником, а не руководителем темы.

Почему-то я рассказал ей все.

— Странная история,— сказала она.— Двое молодых бездельников, из коих один мог бы уже защитить диссертацию, или жениться, или сделать что-нибудь полезное, бьют баклуши и занимаются ерундой. Впрочем, нет. История, пожалуй, не такая уж странная. Скорее, обычная.

Она даже не спросила, что же за сигналы мы поймали в тот вечер. И это была она — а что бы сказал на ее месте кто-нибудь другой?

Как разгадать эту многочисленную породу людей, которые знают точно, как следует и как не следует жить? И даже какие книги читать.

А она могла все понять. Она, оказывается, знала даже о чуде Джинса. Если в печь поставить сосуд с водой и вода замерзнет, вместо того чтобы закипеть, тогда и произойдет это самое чудо. Джинс первый вычислил вероятность того, что молекулы воды смогут — из-за простой игры случая — потерять свою энергию, а печь, наоборот, еще сильнее нагреться.

Я прекрасно понимал, что вероятность «чуда» не совсем равна нулю, но зато записывается таким количеством нулей после запятой, что ни один нормальный человек никогда не станет принимать ее в расчет.

— А ты готов поверить даже в чудо Джинса,— говорила Верочка.— Хочешь, я подсчитаю вероятность того, что из случайного шума возникло одно или два законченных слова?

— Во-первых, шум всегда случаен, выражайся точнее,— ответил я ей.— Во-вторых, подсчитаешь не ты, а машина, ты только составишь алгоритм и программу, и то по тем формулам, которые напишу я. В-третьих, это не так все просто. Это ведь не чудо Джинса. Ты что ж, всерьез думаешь, что это не случайность? Тогда что? Сигнал? Но ты и это отрицаешь. Что же остается?

— Ничего. Где вы взяли ленту? Ах, ты где-то достал... А вы проверили ее перед тем, как записать сигнал?

— По-моему, нет,— не очень уверенно сказал я, удивленный той легкостью, с какой мне давался урок по «основам».

— Вот и разгадка,— продолжала она.— Уж если чему-то верить, то, скорее всего, тому, что на ленте осталась какая-то старая запись. Точнее, маленький ее кусочек. Забарахлило стирающее устройство или остановили магнитофон... Да мало ли причин.

Я задумался. Она была права. Самое простое приходит в голову последним. Как будто прояснялось. Практичная Верочка поставила нас на место. А ведь когда-то я помогал ей писать диплом, за что она позволяла иногда приглашать ее в кино — до тех пор, пока не вышла замуж.

Я взглянул на нее и поймал в ее глазах выражение, которое красноречивей всяких слов свидетельствовало о том, что она отлично понимает примерный ход моих мыслей.

Вскоре после этого я попросил Сафонова уйти. Мне надоел сумасшедший дом по ночам. В огромном ворохе катушек я разыскал (чудо Джинса возможно!) ту ленту с одной-единственной фразой и отдал ему приемник и магнитофон. Потому что его собственный приемник давно уже не работал.

— Возьми приборы,— сказал я,— работай, если хочешь. Когда запишешь настоящие сигналы, я подарю их тебе.

Он понял. Дело было, конечно, не в том, что я не высипался. Я перестал верить — вот что это означало. Верил ли я раньше? Наверное, да. По крайней мере, тогда, когда была сделана первая запись. Первая и последняя?..

Алгоритм Верочка все-таки составила. Случайное слово не получилось, у машины не хватило памяти.

Два письма

Между двумя письмами, о которых я теперь должен рассказать, есть какая-то едва уловимая связь. Это мне стало ясно потом, много позже, как стала ясна и причинная связь событий, следовавших друг-за другом, словно времена года.

О первом письме я, кажется, упоминал выше. Оно пришло из Синегорска в один из сентябрьских дней. Письмо было от Ольги, простое письмо в десять фраз. Я ничего не забыл, но не ответил ей тогда. Потому что не знал, что писать. И еще потому, что голова была занята другим. А еще через год я не написал потому, что было уже неловко писать после такого долгого перерыва. Еще позже, через два года, я вспоминал о ней, но писать уже не мог. Я пробовал это сделать, но получалось довольно глупо (так и должно было у меня получаться, как я понял позже). Я порвал неотправленные письма одно за другим и успокоился. Когда это было? Может быть, четыре, а может быть, шесть лет назад.

Ждала ли она, хотела ли, чтобы я написал ей? Через два, три, четыре года? Я не знал этого, скорее всего, как мне казалось тогда, нет. Потом я понял, что это было ошибкой. Письмо никогда не поздно написать при условии, что оно будет хорошим и искренним.

Второе письмо было от Вальки, я получил его месяца через полтора после событий, о которых я рассказывал выше. В нем было несколько типично Валькиных строк:

«Внезапный порыв сорвал меня с места. Причалил в Батуми. Отпуск. Веду махровую жизнь в джунглях, близ дома отдыха «Буревестник». Остолбенел от тепла. А на днях случилась оказия: на катамаран с острова Хонсю сиганул здоровенный парень, прозванный в местных кругах Болваном. Ну, сам понимаешь, ко дну пошла вся эта эскадра...

Постановили: за невыдержанность и поспешность сбросить Болвана с Высокой скалы — 3 метра — в море.

Вчера вечером впервые в жизни увидел, как в ночное небо врезался крупнейший болид — зрелище феноменальное. Подробности телеграммой. Будешь ли ты в Москве 14-го? Есть важные новости.

Жму копыто. Росинант, он же Влах».

Почему он послал это письмо? Думаю, что он хотел, если можно так выразиться, подготовить меня. Фразу «Есть важные новости» я не без оснований связывал с тем, чем мы так долго и безуспешно занимались. Но неужели он и в доме отдыха возился с магнитофоном?

Он вернулся в Москву четырнадцатого.

— Там идеально прозрачная ионосфера, — уверял он меня. — Где найдешь место лучше, чем под Батуми? И масса свободного времени. Я мог работать целый месяц, и мне никто не мешал.

— Может, мир со встречным временем ближе к Батуми, чем к Москве? — предположил я. — Или Черное море служит огромным рефлектором для радиоволн?

— Смеешься? Вот послушай.

Он привычно щелкнул клавишами, и мой магнитофон (до чего же он теперь жалко выглядел!) подмигнул мне зеленым глазом настройки. Запись была действительно необычная. Вот она:

«Валя... Слышишь меня? Я из Синегорска... Скоро приедем. Да, с Ольгой. Спасибо... Встречай...»

— Ну, так ты собираешься в Синегорск? — спросил он меня.

— Нет. Все давно прошло.

Я знал, почему он спросил меня об этом. Нетрудно узнать мой голос на этой записи. Мне же казалось, что произошло недоразумение. В Синегорске не было радиотелефона, значит, мой голос не попал бы оттуда в эфир и радиоприемник не смог бы его поймать.

— Не было, так будет, — настаивал он.

— Вряд ли. Там всего десять тысяч населения. Это даже и не город вовсе, одно название.

— Да пойми ты — это же телефонный разговор из нашего будущего! А для них оно прошлое и настоящее.

Я понимал. Но, честное слово, я не собирался в Синегорск: сотни километров — ради чего? Да, я хорошо помню его улицы, кончавшиеся оврагами, лощинами и перелесками. Его деревянные дома и нечаянную любовь. А потом — Москва и университет. И все, что было до Москвы, стало для меня другим континентом.

Мы запутались в гипотезах.

Вскоре появились новые заботы. Влах на три месяца

застрял в командировке. Я всерьез заболел. В больнице я встретил синюю, прозрачную весну.

Но я помнил о Синегорске. Помнил так, как будто видел.

...Летом в лощинах поднимались высокие травы. В озерах, оставленных половодьем, шуршал тростник. Мы делали из него копыя. На холмах трава росла покороче, зато одуванчиков было больше, попадались васильки, и мышиный горошек, и цикорий. Склон казался местами голубым, местами желтым. И какая теплая была там земля! Можно было лечь на бок, и тогда лицо щекотали былинки, шевелившиеся из-за беготни кузнечиков, мух и жуков. Скат холма казался ровным, плоским, и нельзя было понять, где вершина и где подножие. Сквозь зеленые нитки травы виднелся лес, и светилось над лесом небо, то сероватое, то розовое от солнца — какое захочешь, как присмотришься. И можно было заставить землю тихо поворачиваться, совсем как корабль.

Весенняя интермедия

Ко мне в палату однажды пожаловала Верочка. Говорила о каких-то пустяках, о работе. Я поймал себя на том, что отношусь к ней без предубеждения. Здесь, в больнице, с помощью старых книг и личных наблюдений я вывел формулу обычного человека. И в этой формуле было все: любовь и мечта, расчет и глупость, порыв и терпение. Все во всех, хотя и в разных пропорциях. Или, может быть, такова жизнь, что заставляет проявлять то одно, то другое свойство?

— А как со встречным временем? — спросила она напоследок.

— Не знаю.

— Жаль. Мне это очень понравилось.

— А мне скучно. Особенно с тех пор, как я попал сюда. Принеси мне книги из моего стола: Слокама, Колдуэлла, Фосетта, Мелвилла, Лондона, — всех принеси. За это я расскажу тебе потом о времени. Нет, постой. Я сейчас расскажу. Время — это громадный кашалот, который закусывает вселенной и выплевывает косточки.

Я дал ей телефон Вальки (в больнице телефон поче-

му-то не работал), и он явился на следующий день.

— Надолго? — спросил он.

— На месяц. Где был?

— На Волге. В полях-лесах антенны ставил.

— Радары?

— Нет, радиотелескопы, представь себе.

— Ты отощал, как серый волк. Тебе бы на мое место. Жизнь спокойная. Лежи и думай. А хочешь — просто лежи. Только вот что, Влах: обалдел я слегка, понимаешь? Валяешься с утра до утра, и мимо санитарки снуют несносно. Принеси мне брюки и свитер.

— Зачем тебе... — начал было он.

— Штаны и свитер, — отрезал я. — У меня же здесь все отобрали. Вот ключ от квартиры.

Я смотрел ему вслед и думал. Что ж, может быть, и для него придет время открытий. Поеду ли я в Синегорск? Я чувствовал, что он прав. И эта правота не нуждалась в моем решении, не зависла от него.

В эти несколько недель, пока я лежал на больничной койке, странные мысли приходили в голову. По вечерам я видел кусок черного звездного неба между занавесками, и мир казался мне просто пустым ящиком, который я мог наполнять раскрашенными кубиками с написанными на них словами: «время», «жизнь», «грусть», «счастье», «человек»... Всеми словами, какие я знал.

И в каком бы порядке я ни укладывал эти кубики, в ящике еще оставалось очень много пустого места — он был просто бездонным.

Наконец мне надоело смотреть на звезды и размышлять о сознании, творящем мир. Я окунался в книги, которые мне принесла Верочка. Это были книги, многие из которых я и раньше читал. Они до поры до времени валялись в моем рабочем столе, словно поджидали удобного случая, чтобы снова рассказать мне сказки о Полинезии, Галапагосских островах и обоих полюсах — Северном и Южном. Я понял, что все они — Нансены, Магелланы, Колумбы, Лазаревы, Амундсены, — даже если они шли среди заснеженных торосов, в конце концов надеялись открыть волшебную страну, отгороженную от остального мира ледяной стеной.

Книги тоже надоедали.

Ветки багульника, которые принесли моему соседу по

палате, то пропадававшему в коридоре, то напропалую игравшему в шашки, напоминали о весне. Еще больше хотелось на воздух, и Сафонов наконец принес одежду.

Он пришел через три дня, которые следовало бы принять за один — так они были похожи (я уже давно узнавал о днях недели из случайных разговоров).

Я оказался на улице вполне прилично одетым. Я проводил Вальку до самых ворот. Холода, по-моему, уже совсем не чувствовалось, а земля казалась летней... Я словно плыл в синем от голых веток воздухе. Теплый желтый луч, упавший с неба, согрел мою ладонь. Необычное чувство возникло у меня, возникло и пропало: не встретился ли я с двойником, не пройдена ли половина пути? Но нет, мне не открылось вдруг будущее — должно быть, не пришло еще время.

Но мне вдруг снова показалось это возможным: два мира несутся во времени навстречу друг другу, и для каждого человека, каждого дерева и травинки, для всего сущего в них рано или поздно наступает совпадение — для каждого в свое время.

Совпадение длится один миг, но оно является полным: два объекта из взаимно вывернутых пространств сливаются в один. И потом стремительно расходятся, чтобы никогда больше не встретиться. Вот тогда, наверное, и можно успеть заглянуть в будущее, если только всегда быть готовым к этому. Так не хотелось возвращаться! Ворота выходили на шоссе. Я повернул назад и, обойдя больницу, перелез через забор, отгораживавший ее от парка.

Здесь, прыгая с кочки на кочку, я буквально столкнулся с двумя мальчишками. Они колдовали у тонкой березы. Маленьким и плохим пожаром один из них ковырнул дерево, и сок пошел.

Это было по мне.

Я взял у них нож и, выжимая ботинками воду из-под старых листьев, добрался до высокого дерева. Но сколько я ни старался, все было напрасно, только зря березу покалечил. «Как два встречных поезда...» — почему-то вспомнил я. Я не мог еще заглянуть в будущее и не мог «вернуться в прошлое».

Наверное, я глотнул слишком много воздуха сразу, меня закачало, как на самолете при посадке, и деревья

стали противно кружиться. Через минуту, когда я смог стоять, не держась за березу, что-то изменилось. Может быть, просто стемнело, но парк изменился. С паутинки, прилипшей к сучку, слетел солнечный луч. Ветки стали серыми, и воздух погас.

Пахло давнишней сыростью. Мои ботинки были совсем мокрыми, к ним прозаически липли коричневые иглы и какая-то прошлогодняя дрянь.

Мое бегство не прошло даром: я простудился, и меня задержали в больнице.

В один из последних дней пришла знакомая девушка, имени которой я не буду называть. Она тоже что-то принесла мне и что-то говорила. У нее был хороший голос и милое лицо, и было приятно слушать ее, хотя все, что она говорила, было неправдой.

Глядя на знакомую звезду в черной щели между занавесками, я спрашивал себя в эти последние дни: поеду ли я в Синегорск?

Однажды мне захотелось добраться до истоков человеческой мысли о пространстве и времени. Что думали об этом тысячи лет назад пророки, передавшие в мифах свое видение мира?

Почему вселенная заново создается Брамой через каждые восемь с половиной миллиардов лет? Где истоки этого до странности смелого представления о бесконечных циклах созидания и разрушения? На подобные вопросы ответить совсем не просто.

...Было одно лишь пространство, говорит скандинавская сага, не было ни песка, ни моря, ни волн холодных, ни неба над ними. В северной части пространства располагался вечный источник холода — туманная страна Нифельгейм. Волны Урда, теплого ключа, расположенного на юге, встречались с холодными потоками Нифельгейма. И этому смешению обязана своим возникновением первоначальная материя. От нее произошел мир.

Материя — из пустого пространства. Таков смысл саги, словно предвосхитившей результаты современных исследований. Еще Клиффорд и Эйнштейн мечтали создать теорию, которая вкратце сводилась к следующему: в мире нет ничего, кроме пустого искривленного пространства.

Частицы вещества — это такие участки пространства, в которых оно искривлено больше, чем везде. А перемещение частиц подобно движению волн на поверхности озера.

Волны Урда и Нифельгейма постепенно становились математической реальностью.

А время? Может ли быть такое, что о встречном времени догадывались еще во времена халдеев и древних египтян?

Я попытался представить эпизод, описанный в одной старой книге, которая каким-то чудом попала мне на глаза как раз в те дни.

Фараон Хеопс спросил мастера небесных тайн (звание столь же высокое, как и звание начальника телохранителей):

— Правда ли, что ты можешь заставить отрубленную голову снова прорасти к плечам?

— Да, повелитель, если это будет угодно богам,— ответил мастер.

Он был одним из тех, кто составлял план Великой пирамиды, рассчитав вход в нее так, что из самой его глубины можно увидеть священную звезду.

— Пусть приведут раба,— сказал Хеопс верховному писцу.

— О, повелитель,— возразил мастер,— великое строительство еще не кончилось, и пусть жизнь даже одного-единственного раба не зависит от моего искусства.

Хеопс удивленно взглянул на мастера.

— Что же ты предлагаешь?

— Пусть принесут гуся или пеликана, но я должен сам выбрать его, дабы согласовать с волей богов.

— Тебе всегда удастся своевременно узнавать волю богов? — спросил Хеопс, и едва заметная улыбка тронула его губы.

Мастер молчал. Он хорошо знал, что равных ему не было во всей долине Нила и далеко за ее пределами. Едва касаясь пальцами, легкими, как струны, он мог открыть душу вещей и животных, он мог читать мысли и помнил древние слова, пришедшие, согласно легенде, со священной звезды.

— Хорошо,— сказал фараон, не дожидаясь ответа,— я согласен, но если ты ошибешься, то вторым после птицы будешь ты сам.

Гусь был обезглавлен, и тело его оставлено в одном конце комнаты, а голова в другом.

— Можешь начинать,— сказал Хеопс.

Тело и голова птицы быстро поползли навстречу друг другу и соединились, причем пятна крови на перьях исчезли, как будто их не было вовсе. Гусь поднялся на лапы и тревожно загоготал...

Самым интересным в этой истории было объяснение, данное фараону мастером небесных тайн.

По его словам, согласно древнему замыслу богов, никакие усилия смертных не смогут нарушить всеобщей гармонии и равновесия: любое их действие повторяется небом в обратном порядке, и общий результат тем самым сводится на нет. Так, вместо птицы с отсеченной головой там появляется целая птица, которую с согласия богов можно иногда обменять на убитую.

— Ерунда,— сказал Валька, когда я рассказал ему об этом.— Выбрать гуся, которому пришло время встретиться с двойником? И потом, как ты выражаешься, обменять? Нет, к нам это отношения не имеет.

— К нам?.. Учти, Влах, они в голове умещали всю премудрость тысячелетий, ныне частично утраченную, частично искаженную и лишь в малой части ставшую основой современной цивилизации.

— Если хочешь научиться у астрологов узнавать волю богов, тебе нужно родиться снова — в более подходящее для таких упражнений время.

— Боги? Да они не верили в них! Боги многих из них — словесная формула, не более. Или освященные временем предания.

— Слишком оптимистично.

— Да нет же. Вспомни, даже много позже, в просвещенной Элладе, Аристотель был обвинен в богохульстве и присужден ареопагом к смерти, но успел спастись, убежав на Эвбею. Диагор, отрицавший существование богов, также удалился в изгнание после того, как его приговорили к смерти. Сочинения Протагора были публично сожжены, а сам он изгнан. Продик, утверждавший, что боги лишь олицетворение сил природы, казнен... Ну? Кто же осмелился бы открыто отрицать? Из тех, разумеется, кто хотел сохранить себе жизнь?

Валька неопределенно махнул рукой.

— Ладно. Меня это не очень волнует. Скажи лучше: ты в Синегорск поедешь?

— Этого я пока не знаю.

Синегорск

Прошел год с небольшим — и все переменялось. Осенним вечером, когда солнце катилось по крышам дальних домов, а на темно-серой ленте реки дрожали длинные тени, я вспомнил о Синегорске. Но совсем не так, как раньше. Здесь, на осенней набережной, я уже, кажется, не сомневался.

Слева от меня, на пригорке, деревья позванивали сентябрьскими листьями. Над горизонтом висели желтые края облаков, и небо там было жарким и плотным, но над головой уже рассыпался голубой пепел. На реке, начинавшейся где-то в розовом закате, гасли и тонули золотые огни. Здесь, на грани осеннего дня, мир показался мне широким и светлым, а листья и травы вспыхнули вдруг чистым и ярким пламенем.

Я не сразу догадался, откуда этот несобъяснимый свет.

От уходящего солнца остался красный полумесяц. Оно почти скрылось там, где за лесами, за реками был Синегорск. Кто знает, может быть, его-то лучи и пробили маленький канал между прошлым и будущим? Верили же мы в то, что каждый из нас должен рано или поздно встретиться с другим миром... И в то, что поток фотонов мог облегчить квантовый обмен. Мы уже знали, что мир вокруг нас совсем не такой простой, каким он кажется тем, кто привык к нему. Ложная память — по-моему, так это называется. Я словно снова пережил то, что уже было когда-то давно.

Я поднял руки вверх — они как будто коснулись прохладного неба. Мне хотелось удержать солнце, еще и еще видеть и слышать, как дышит зеленая земля. Но можно ли это сделать? Странная минута...

Наверное, меня давно тянуло в Синегорск, просто я не признавался себе в этом. Нужно спешить, думал я, можно собраться очень быстро. Разве мало трех дней? Уехать от всего, что надоело, от бесполезной и пудной

толкотни. А там видно будет... Влах был прав, конечно, я позвоню ему оттуда.

В этот момент я действительно знал или, может быть, чувствовал все, что случилось потом, словно встретились настоящее, прошлое и будущее. Я знал, что скажу Ольге. Знал, что вернусь с ней. Знал, на каком поезде поеду, и в ушах уже раздавался стук колес. Знал все о встрече и о первом глотке воздуха, когда я спрыгнул на почти пустую платформу. О старых вещих соснах, все еще рассказывавших, наверное, ту самую историю, начало которой я слышал в детстве. Я представил все это так, как потом и оказалось на самом деле.

Ясно прозвучал гудок, протяжный, как северная песня.

Я шел сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И мне казалось — я представил себе, — что кто-то другой, похожий на меня, шагал навстречу горячему восходящему солнцу и протягивал к нему руки.

ЧИТАТЕЛЬ

Рано утром он пришел к космо-
дрому и стал кричать через про-
волочное ограждение людям в
мундирах, что хочет на Марс.

Рэй Брэдбери,

МАРСИАНИНСКИЕ ХРОНИКИ

В солнечную среду он по-
дошел к дому писателя. Огромные, насквозь пропыленные ботинки глухо ударили по ступеням. Правым локтем он уперся в дверь, слегка покачиваясь, и стал беспрерывно звонить.

— Выйди, Брэдбери, мне нужно поговорить с тобой! — гремел он. — Уж не думаешь ли ты, что я пьян? Ну, выходи... Это ты увлек меня своими небылицами, ты забил голову мальчишке. Не глотай он твои книжки, разве вздумалось бы ему на Марс полететь, космонавтом стать? Да я бы спокойно гонял себе мяч или, на худой конец, сделался бы врачом, а когда пришло время — женился бы... уж будь спокоен.

Он звонил — дом отвечал тишиной. Возможно, что там не было ни души, но он не терял надежды. Он грозил, просил, требовал, умолял. Почему до сих пор не открыли дверь? Завтра ему лететь туда, где он проторчит двенадцать лет. Приятного там мало. Песчаные дюны, стоградусный мороз. А здесь не с кем и словом перемолвиться. Жена школьного дружка только что вежливо выпроводила его из дому. А он хотел выпить чашечку кофе. Может быть, он и в самом деле громко разговаривает? Привычка — врачи советовали, чтобы совсем не разучиться говорить там, в песках. Никому он зла не желает, только вот не с кем потолковать, душу отвести? Может, Рэй катается на велосипеде? Он подождет. Он расскажет кое-что. Не о чудесах вовсе. Чудес там нет — голод да холод. Однажды на обратном пути они ели кожаные пилотские кресла. И все умерли — один за другим, потому что кожа оказалась дешевым синтетическим заменителем. После этого... он снова улетел, надо же. А теперь он не может не лететь, рад бы, да не может. Его тянет туда. Здесь его забыли, он и семьей-то не успел обзавестись. А если б и была у него жена, разве удержалась бы? Не ушла? Кто поручится?

Ну так в чем дело? Почему Брэдбери не хочет поговорить с живым капитаном Йорком? Где он там прячется? Может, прилег вздремнуть? Так он разбудит. Если звонок тихий, он постучит в окошко, бросит камешек в стекло. Один, другой... Пусть Брэдбери встанет на минутку, пусть выслушает его. Что зазорного в том, что они выпьют вместе по чашечке кофе? И пусть его извинят, он привык к небьющимся стеклам.

— Мне нужно поговорить, завтра я улетаю. Нельзя откладывать!

Он кричал и говорил не переставая. Он хотел потолковать о друзьях, и о полетах, и о марсианских песках.

Осколки стекла потревожили мохнатых шмелей в золотистых цветах перед домом. Подошли два полисмена.

— Посмотри-ка на него, — сказал первый. — Еще один. Просто эпидемия.

— Может быть, этот настоящий? — спросил второй. — С Марса?

— Да ты свихнулся, что ли? Бери его, только осторожней.

И он замахнулся дубинкой. Но космонавт увернулся и выбил ему зубы. Подоспела полицейская машина. До конца дня было тихо и солнечно.

ТРЕТИЙ ТАЙМ

Странное недомогание. Будто невидимая рука притронулась к сердцу. И жмет, жмет. Легко, но чувствительно. Нет, это не болезнь. Что-то другое, по-серьезней.

Однажды это уже было со мной. У Андроникова монастыря. Летним днем у древней стены я заметил цветок кипрея. Кто-то наступил ногой, придавил стебель к земле, и в неярком свете под серо-сизыми облаками будто бы зажглась малиновая искра. Не сразу смог распознать я этот сигнал. Только дома, несколько часов спустя, понял, из каких далей пришла весточка. И память очертила не то круг, не то петлю времени...

Сохранился снимок: два мальчугана у разрушенных стен монастыря; снимал кто-то из взрослых. У одного в руках мяч. Это я. Другой рядом со мной... Что я знаю о нем?.. Сероглаз, стрижен, худ. Жил он на той же Школьной улице, что и я. У него были сестра и мать. Отец погиб на фронте. Однажды я пришел к нему. Мы спустились в полуподвал. Вошли в комнату.

Слева — койка, накрытая темным сбившимся одеялом, справа — стул с выщербленной спинкой, прямо — подобие обеденного стола. И обед — два ломтика жареного картофеля на сковороде. Но обедать он не стал... Мы пошли играть на улицу. Переждали ливень в подъезде, бродили по улице босиком. Небо было высоким, чистым, холодным.

И новые воспоминания...

Август сорок пятого — время желтых метелок травы, ряски в Лефортовских прудах, теплых красных вечеров. Над храмом Сергия в Рогожской верещат стрижи. На высоком берегу — развалины Андроникова монастыря. Вишнев от заката Костомаровский мост. Где-то здесь

впадал в Язу ручей Золотой Рожок. (Над светлой струей ручья в Андрониковом монастыре останавливался Дмитрий Донской после битвы на Куликовом поле. Воины пили воду ручья. У Спасского собора монастыря похоронен Рублев.)

...Рядом стучали колеса. Над рельсами струились горячие потоки воздуха. Синие рельсы отражали московское небо. Несколько шагов вдоль полуразрушенной монастырской стены — и вдали возникал Кремль с его пасмурно-розоватыми башнями, тусклыми шатрами, величавой колокольней, зубцами стен и куполами храмов. Высоко взбегал он на холм, отделенный от нас толщей воздуха над низкими крышами. С маковки нашего рогожского холма виден был он то четко и ясно, то размывчато, словно сквозь матовое стекло.

У стен монастыря разноголосица, звонкие удары по мячу. Мальчишечий футбол. Второй тайм. Играл с ним в разных командах. Еще один бросок — и я ударю по воротам. Он бежит слева, этот мальчик... Я отталкиваю его. Не так уж заметно для других это мое движение плечом и рукой. А судьи нет. И он падает. Стоп. Я особенно внимателен, воспроизводя в памяти именно этот вечер.

Под красноватым солнцем на пыльной траве, на кипрее, мы отдыхаем, разговариваем, смеемся, и перед нами линия за линией открываются охваченные закатным пламенем улицы и проспекты. В удивительный час предвечерней ясности на улицах мало людей, редко ходят трамваи, почти нет машин. Город словно отдыхает от великого труда. Так оно и было... Закатный свет окрашивал прошлое и настоящее, и осязаемые нити его тянулись в будущее. И он всегда вспыхивал в памяти, когда я снова, хотя бы только мысленно, приходил туда, на этот удивительный холм с его пыльной травой, кипреем, несказанным дымным воздухом заводской окраины, с желтыми стенами домов, которые так явственно светились...

...Я оттолкнул его не только от мяча. Он исчезает из моей памяти. Мы больше не друзья. Да, именно тогда это и случилось, и с этого вечера мы не встречаемся на улице, и несколько раз потом видел я его издалека, но не подошел. И он тоже... Вот такая история произошла с тем мальчиком и со мной.

Почти физически ощущаю этот толчок. Как будто это было сегодня. Не надо бы так! Возникают ассоциации. Андроников монастырь. Щемящая боль. Игра в футбол. Ушедшая дружба. Ассоциации? Ну, нет.

Не только. Пробив канал в косном времени, вернулась давняя боль. Именно ее чувствую я сердцем. Разве нет? Это не болезнь. С ней я бы справился — трудно, но возможно...

Я знаю, как необъяснимое тепло нагревает ладони. Иногда рука ощущает как будто бы дуновение. Иногда будто бы искривление пространства. Биополе?.. Впрочем, дело не в названии. Нужно сконцентрировать волю. Тогда пальцы похожи на магниты, но стрелка компаса при этом бегает все же по другой причине: биофизическое поле и магнитное не одно и то же.

Вернадский писал о пространстве-времени живых организмов: «...Процессы в живом веществе идут резко по-иному, чем в косной материи, если их рассматривать в аспекте времени... Необратимость эволюционного процесса связана с особыми свойствами пространства, занятого телом живых организмов, с его геометрической структурой...» Обязательна ли необратимость? Стоит, пожалуй, перечитать его переписку...

Сегодня я бессилен помочь себе.

Петля времени... Ведь это август сорок пятого — те двое с мячом. Снимок тусклый, пожелтевший, еще десять — двадцать лет — и время сотрет наши лица. Как жаль! А сейчас нужно поехать туда.

Немедля! Причина там. На поездку час. Не более.

...Встер над Яузой. Морщит мутную воду, гонит пыль по выщербленному асфальту в сторону Костомаровского моста. Вот врывается на холм, шелестит травой. Яр точно вздыхает. Затрясся куст под стеной. Снова тишина... Вот оно, то место. В шестидесяти шагах дом, где я родился, но там давным-давно живут другие люди. Бабка моя умерла в пятьдесят пятом. В пятьдесят седьмом мы с матерью переехали в новый район, где дома и улицы одинаковые, газоны подстрижены, лица прохожих не запоминаются, а мальчики не играют в футбол.

Прошло еще лет двадцать, и я стал приезжать сюда. Как сегодня... Но никогда не хотелось так сильно перенестись в тот далекий сорок пятый! Меня не удивляет, что

желания человека, умеющего управлять биоритмами, исполняются, — я это знаю. Фантастично лишь то, что я так отчетливо помню Москву сорок пятого... Это почти реальность — воспоминания о ней. Больше всего на свете я хотел бы увидеть этих ребят. И футбольный мяч у стен монастыря. Мне безразлично, как это называется: телепортация, иллюзия или даже путешествие во времени. Пора исправить ошибку и доиграть матч честно... Я не ношу часов. На моей руке их стрелки бегут то быстро, то медленно — подчиняются моему ритму. Время я угадываю. Но сегодня не могу...

Пасмурный день. У монастыря ни души. И трава, трава. Как тогда.

Странный порыв теплого ветра. А трава не шелохнется. Пробился сквозь облака закатный луч. Знакомое мне ожидание несказанного, неповторимого...

Впрочем, вот они появились.

Трое, четверо... еще четверо. И тот мальчуган. У него в руках мяч. Я срываюсь с места легко, стремительно. По-мальчишески. Передо мной красный от кипрея сквер. Справа предзакатное солнце. Облака вдруг исчезли. Багряный свет... Третий тайм.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

Странный вечер: сегодня как будто хотят встретиться друг с другом солнце, дождь и ветер. Нагнало облаков, и белых и темных, они плавают над крышами, как весенние льдины, и хочется протянуть руки и потрогать их: какие они — холодные или теплые, мягкие или, может быть, хрупкие? А люди кажутся сегодня суетливыми и смешными. Меня могла бы сбить машина: скрип тормозов и ругань шофера я услышал над самым ухом.словно очнувшись, я прыгнул на тротуар и сбил с ног старика, точильщика ножей. Я немного знаю его (хотя на нашей улице он не частый гость), война почти не оставила ему лица — шрам вместо бровей и ни одного лоскута здоровой кожи. К тому же он, вероятно, контужен: ни раньше, ни

даже сегодня, когда я помогал ему встать, он не проронил ни слова.

Странный вечер. В конце рабочего дня ко мне вдруг забежал Левин и принес пластмассовый преобразователь, который он пообещал год назад. Но мне даже не захотелось попробовать прибор, прийти домой и сразу же попробовать, я отправился в кино на шестичасовой сеанс.

Сначала показывали старую хронику, крутили ленты, присыпанные желтоватой пылью времени — пылью, которая не стирается. Из оврагов, из заснеженных лощин выползали танки, и с попутными льдыстыми ветрами летели над полями лыжники. И стройный солдат, бегущий впереди, рядом со стремительной «тридцатьчетверкой», был очень похож на отца.

Странный вечер. Но если разобраться, ничего особенного не случилось. И вот сейчас, уже дома, когда за стеной в соседней комнате отчим шуршит газетой, то и дело расправляя ее на нужных страницах, и громко прихлебывает чай, я постепенно успокаиваюсь. Я слышу голос матери. Щелканье телевизионных клавиш. Сухой звук от вспыхнувшей спички. Иногда в такие же вот вечера мне слышно, как отчим добродушно прохаживается по моему адресу. Будучи хорошим и добросовестным отчимом, он должен меня любить, но что же за любовь без отеческих наставлений, дружеских пожеланий и мужских откровений? Он любит беседовать о молодежи вообще: то с горечью сетует на инертность и пассивность «наших молодых людей», то кругло и едко говорит о «сопляках-выскачках», которые «всегда и все обязательно испортят», и в обоих случаях находит поддержку матери.

В отношении меня отчим прав: все-то у меня получается не как у людей, я и сам себя считаю неудачником. Прошлой весной я чуть не женился на девушке, которая мне очень нравилась, но оказалось, что она, встречаясь со мной, любила другого. С тех пор прошел год. И весь год я думал о ней, о жизни вообще, о любви и о смерти — обо всем.

Почувствовать себя наконец взрослым в двадцать шесть — это не так уж плохо, как говорит мой отчим. Мне пришла в голову простая мысль: отец погиб, когда был моложе, чем я сейчас, мой дед — тоже. Значит, я самый старший из всех нас.

Как-то я сказал матери, что надоела мелочная опека, что не могу тратить время на споры по пустякам. Но разве ее убедишь? Она до сих пор боится выйти из дому, если я принимаю ванну. Она думает, что я могу заснуть в теплой воде и захлебнуться.

Вообще-то мы живем дружно. Я даже не обижаюсь на отчима за правоучительный тон — ведь и я могу высказывать ему все, что думаю о нем. А когда он чрезмерно досаждал мне, я просто ухожу в свою комнату и из вежливости не закрываю дверь совсем, а лишь чуть прикрываю. Мой отчим «жизнь не по книгам изучал», он «специалист с большим стажем», практик. Но по-моему, если это и должно давать какие-то преимущества, то лишь при прочих равных условиях.

Может быть, я несправедлив к отчиму, иногда бываю неправ. Может быть, все дело в том, что я помню отца. Я еще не ходил в школу, когда он ушел на фронт, но я тогда уже разговаривал с ним обо всем: о Земле, о Солнце, об атомах. Мы листали с ним старые книги, где на обороте титульного листа было непременно напечатано: «Бумага без примеси древесной массы (веленевая)». Отец научил меня читать по первому тому «Жизни растений», и так я впервые узнал о цейлонских лесах, багровых снегах Гренландии (такими они кажутся иногда из-за массы микроскопических водорослей), о светящихся мхах и кроважидных росянках. Как легко и просто было путешествовать от страницы к странице, по горам и долинам на каком-нибудь допотопном бумажном динозавре, ошетиившемся миллионом строк! Вместе мы разбирались в тонкостях трехцветной печати и в природе северных сияний, рассматривали радиолярий и свечение в гейслеровых трубках, пока мать не укладывала меня спать (отец, мне кажется, ни за что не догадался бы сделать это вовремя).

Старые книги и сейчас стоят на полках моего шкафа. Время не состарило их: навсегда останутся такими же четкими тисненными золотом буквы на их переплетах.

В сорок втором отца отпустили с кафедры, он ушел на фронт и пропал без вести. А бабушка моя все ждала его и ждала — и в сорок пятом, и в сорок седьмом. Пока не умерла. В сорок восьмом пришел отчим, и, конечно, нам с матерью жить стало легче.

Отец стал для меня мифом.

Где-то я видел картину. Она называлась коротко: «Солдат». Человек держит в руке автомат. Под его ногами и вокруг — до самого горизонта — горят, словно игрушечные, танки и разбитые самоходки, идут в атаку и ложатся на почерневший снег пехотные батальоны. Гигантская фигура солдата не гротескна, не громоздка. Это просто рослый и стройный солдат, и рука его как-то даже нежно сжимает автомат. Под его ногами война, он же словно не замечает ее, а смотрит куда-то в сторону, вдаль. Наверное, сквозь кровавые огни и разрывы он увидел кусочек синего неба. Но только минуту постоит так солдат. Сейчас, сейчас его рота поднимется с земли, солдаты встанут во весь свой исполинский рост и пойдут на юг и на запад, топча сапогами огонь. Нужно ли говорить, что солдат на картине похож на моего отца?

А однажды, очень давно, мне приснилась черная опушка зимнего леса и дома, сожженные дотла, — только печные трубы торчат, как надгробья. Стужа. Дыхание превращается в снежок, в иней. Мы будто бы бежим к опушке, а впереди вздрагивает снег, как от ударов палками. У опушки дергаются темные фигурки и тают серые дымки. На мне белый маскировочный халат с заиндепевшими рукавами, ноги с трудом поднимают снежную стеклянную вату. Меня что-то стукнуло вдруг в лицо, в голову так сильно, что я не почувствовал боли. На этом сон оборвался. Помню, я вскочил с кровати, пытаюсь справиться с испугом. За морозным окном ярко горели утренние звезды, в натопленной комнате было так тепло и уютно! Негромко тикали часы, за стеной похрапывал отчим.

...Мне видно, как скатилось вниз солнце по остывающей крыше соседнего дома, как потемнели деревья скверика, в складках которых воробьиные выводки только что устроили шумную возню. Час звезд еще не настал. Еще светятся, как вишни, купола церквушки, а открытое настежь окно дышит теплом совсем по-дневному.

Я помню закаты с сорок пятого. Тогда почему-то развелось много стрижей — сейчас их почти не видно. В сорок девятом крыши поросли первыми телевизионными антеннами, а мимо моего окна стал иногда проходить точильщик ножей — тот самый, которого я сбил сегодня с ног. Несколько раз он точил мне ножи, сыпал колючими искрами и жестом просил посторониться.

Я любил вечерние часы, когда можно читать или просто ничего не делать. Раньше я часто включал телеусилитель и подолгу с ним возился, а потом он мне, наверное, надоел. Даже пыль с него стирать стала мать, потому что я немного лентяй. Но телеусилитель — старая затея. Тогда я как раз окончил радиофизический факультет, и у меня было целых два месяца свободного времени. Замысел был прост: усилить поле, передающее телепатическую информацию.

В обычном звуковом усилителе микрофон преобразует звуковые волны в пульсации электрического тока, эти пульсации усиливаются и подаются на громкоговоритель. Никого, кажется, этим не удивишь. Вот если бы удалось поступить точно так же с неизвестным полем, переносящим мысли на расстояние: преобразовать его сначала в поле электромагнитное, потом усилить (ведь с этим справится обычный электронный усилитель!) и полученные электрические сигналы снова преобразовать в исходное поле.

Я перелистал ворох статей по телепатической связи. Я разыскал материалы и о статистической обработке результатов наблюдений, и о методике проведения экспериментов, и о влиянии посторонних шумов на устойчивость связи. Словом, о чем угодно, только не о природе поля. На этот счет до сих пор не опубликовано никаких серьезных предложений. Нельзя же считать, что информацию переносят электромагнитные волны! Свести все к электромагнитному полю — значит, по-моему, уподобиться старушке из анекдота, которая не представляла себе, как же это паровоз может тянуть вагоны без лошади.

Я не знал и не знаю, что это за поле, переносящее мысли на расстояние, но я верил, что его можно преобразовать в поле электромагнитное. Я ломал голову над преобразователями, пробовал кристаллы, какие-то биметаллические сетки, пластмассы, желе, древесные опилки, обработанные химикалиями, и время надежд еще не кончилось.

...За стеной слышен шелест газеты, голос отчима: «О, да сегодня новый фильм». Я знаю: сейчас мать подойдет к моей двери и скажет, что по телевизору показывают новый фильм. И я отвечу: «Нет, мам, некогда». Я не люблю телевизор. И сейчас действительно занят. Левин подарил мне наконец кусок полупроводниковой пластмассы, значит, я могу попробовать новый преобра-

зователь — а вдруг получится? Говорил же я с Левиным около года назад. Когда-то он стал для меня идеалом человека, делающего науку. Он сдержан, корректен. Его можно, пожалуй, назвать замкнутым. Но эта его замкнутость не похожа на повадки хитрого отшельника от науки, денно и нощно высиживающего тепленькие мысли о карьере.

Левин выслушал меня спокойно.

— Но пойми,— сказал он,— никто не знает, что это за поле такое. Может быть, мысли переносятся вовсе не полем.

— А чем же? — спросил я.

— Не знаю,— ответил Левин, улыбнувшись.

Он встал в позу наставника, трезвого и объективного. Что я мог противопоставить «незыблемым физическим канонам», «усилиям большой группы специалистов, работающих над исходной проблемой»?

Я сделал то, что всегда делаю в таких случаях: кивнул головой и сказал:

— Ты прав,— повернулся и пошел.

Левин догнал меня.

— Брось, старик,— хлопнул он меня по плечу.— Ты мог бы увековечить свое имя любым другим способом. Только не этим. Заканчивай лучше статью, о которой ты говорил. Выводи приближенные формулы, строй графики. Зарабатывай на хлеб...

Кто знает, возможно, Левин был тогда прав. Сегодня он принес пластмассу. Он сделал это потому, что относится хорошо ко мне, но не к моей идее. Жаль.

Вот уже минут десять я ищу электромагнитный экран и не нахожу. Как сквозь землю провалился. Иду ругаться с матерью. Сколько раз говорить, чтобы на моем столе ничего не трогали?

— Я ничего не трогала,— оправдывается она.

— Но тогда куда все исчезает? — спрашиваю я.

— Ведь на столе беспорядок, настоящая свалка,— говорит она.— Я только стерла пыль.

— Глупости,— настаиваю я.— Никакой свалки. Исчезла металлическая коробка.

— Никакой коробки не видела,— говорит она.

Я нашел экран в своем портфеле. И как он туда попал?

На улице заметно стемнело. Щелчок тумблера — и

в контрольной лампе моего усилителя загорается красный огонь. Свет тускл и зыбок — розоватое колеблющееся пятно на стене, и темнота за окном становится от этого плотней и гуще.

Полил было сильный дождь и быстро утих. Двор, деревья, крыши, подоконники почернели и заблестели. Звуки стали глухими, какими-то влажными, в воздухе повисла водяная пыль, сквозь которую дальние фонари видны, как через матовое стекло. Неведомо откуда донеслось шипение и легкий резиновый удар, словно сошлись двери вагона метро.

Уже очень поздно. Мои поговорили, поговорили и легли спать. Мне тоже пора. Может быть, сегодня приснится отец. Ночь поглотит годы, оживут в памяти старые тени. Маленькая подвижная бабка с умным лицом будет и ласково и сердито трясти за плечо: «Вставай, вставай, в школу пора!» Отец встанет у книжного шкафа, чтобы перелистать наши книги. Он будет рассказывать, я — слушать. Подумать только, впервые в жизни услышать о ледниках и спиральных туманностях, об опыте Плато и волнах Герца, о кроманьонцах и новозеландских растениях-овцах! И это можно испытать снова и снова, но только во сне. На минутку книга застынет, успокоится в отцовских руках, словно тысячекрылая птица. Тогда я захочу говорить, я заспешу рассказать отцу о себе — и тут же проснусь.

Так бывало всегда. Всегда — это значит в те три или четыре ночи, когда я встречался с отцом во сне. И было это давно.

Наверное, бабка все-таки хоть чуточку заразила меня своим неверием в то, что отец погиб. «Мало ли их, сердешных, кого из-за границы не выпускают, кто контужен да покалечен, может, и дорогу домой забыл, разное бывает. Его могли задержать люди, обстоятельства, а потом ему уже некуда было возвращаться». Мне-то отец нужен и покалеченный. Так я думал и думаю сейчас, по привычке, в настоящем времени.

Слышен голос диктора: «Московское время двадцать три часа тридцать минут. Передаем...» Хлопнуло чье-то окно. Еще раз хлопнуло. Это уже не окно, а дверь вагона в метро. Но не могу же я слышать хлопанье дверей под землей, в самом деле! Какая ерунда! Но тогда что это?

Стрелка на моих часах громко отсчитывала секунды: двадцать, тридцать, сорок... Я снял часы с руки — так удобней наблюдать за циферблатом... Восемьдесят, сто двадцать, сто пятьдесят. Удар. Опять двери. Две с половиной минуты — в среднем как раз то время, которое нужно электричке, чтобы пробежать расстояние между станциями.

Теперь я слышу жужжание колес: электричка уходит со станции, рельсы вторят убегающим колесам, звуки тонут, исчезают в тоннеле. Снова тишина. Живая тишина, из такой иногда рождается гром.

Я начинаю догадываться, в чем дело. Усилитель включен, вот оно что. И на этот раз, кажется, работает.

Преобразователь ловит неизвестное поле, превращает его в электрическое напряжение, оно усиливается и опять рождает поле, а в результате два человека (один из которых я, другой — кто-то неизвестный в метро) связаны ниточкой, каналом, свободно передающим мысли и ощущения. В такое нелегко сразу поверить. Нелегко, потому что я слишком долго ждал этой минуты и боюсь ошибиться.

Я немного теряюсь и становлюсь рассудительным — наверное, потому, что только так можно противостоять фактам. И чувствую, что напрасно теряю время. Жужжание колес пропало. Все стихло. Но это, по крайней мере, вполне достоверно. Я понял, что связь была. Раз она прервалась, значит, была. Вот когда я захотел повторить это еще.

Я собрал нервы бережно, струна к струне, и они словно зазвенели, готовые отозваться на чуть слышную мелодию. Мои губы высохли, по вискам прошла быстрая теплая волна. Я узнал станцию метро. Вестибюль и ступени эскалатора мелькнули, как на цветной полупрозрачной картине, на мгновение заслонившей черный от дождя двор. Мелькнули и пропали. Опять видны слепые блестящие окна, мокрые деревья и ломтик луны, отрезанный краем тучи. Далекий свисток, неизвестно откуда взявшийся, погасил шорохи, с минуту стояла тишина, в которую я жадно вслушивался. И я услышал.

Эскалатор бежал вверх и поднимал человека, руками которого я прикоснулся наконец к влажной плотной двери. Очень знакомы были осторожные движения этих сильных рук. Я чувствовал их почти так же хорошо, как если бы

это были мои собственные руки. Я услышал легкий ночной ветер и холодные одинокие капли, срываемые с тополей. Свет пропал. Осталась ночь и мокрая улица. И человек, идущий к нашему дому.

Он шагал по улице, а я считал шаги, которые оставались и тонули за его спиной в лужицах на асфальте и те, которые еще разделяли нас.

Он шагал, как бывало, легко и быстро, и ему оставалось пройти немного по соседней улице, свернуть налево и выйти на нашу улицу — всего метров триста, не больше. Но он свернул раньше — он так ходил когда-то; даже в пятидесятом я сам еще бегал в школу тем же путем, через проходной двор. Я помог ему, показал дорогу без тупиков, короткую дорогу к дому, — ведь я знаю там каждый камень, каждую ямку.

Он вошел во двор и направился к нашему подъезду — маленькая темная фигурка со свертком или чемоданчиком в руке. Он торопился. Я хотел получше рассмотреть его и не смог. Потому что от далеких фонарей вдруг пошли во все стороны желтые влажные лучи и ничего не стало видно, кроме этих лучей. ...Дверь подъезда скрипит так громко, как будто хочет закричать. Быстрые шаги на лестнице кажутся нескончаемыми. Он поднимается... один этаж, еще один... еще. У меня холодеют виски, я встаю, чтобы открыть ему дверь. Как долго он не приходил! Но ведь он знает все. Он прошел огни и воды. И если не приходил, значит, так было нужно.

Звонят.

Рвется какая-то невидимая ниточка. Нужно открыть дверь отцу — и трудно поднять руку, трудно шевельнуться. Случилось что-то непоправимое. Я цепляюсь ногой за провод — в моем усилителе гаснут лампы. Исчезли розоватые блики на стене. Из полураскрытого окна дохнуло сырым холодом от застывших на небе туч — выпуклых, неподвижных.

Бегу к двери. Щелкаю замком. У порога стоит то-чильщик ножей, я успеваю заметить, как гаснут его глаза под широким влажным шрамом на месте бровей.

— Извините, — с трудом выговаривает он. — Я хотел спросить, не нужно ли вам поточить ножи?

ПОВЕСТИ И ЛЕГЕНДЫ





Каждый камень здесь памятник. Давным-давно жили тут фракийцы. Остались некрополи и курганы — их несколько десятков. Если повезет, можно примкнуть к группе спелеологов, изучающих пещеры. Однако удостоверения журналиста для этого недостаточно: карстовые пустоты в теле земли коварны, нужно быть предельно собранным, в некоторые подземные гроты еще не проникал человек.

В Ловече — старейшем городе на берегу болгарской реки Осыма — я повстречался с художником Павлом Авраамовым. Днем он показал мне город, остатки стен римского поселка, рассказал о Стара-Планине, этой заветной земле, средневековых крепостях, карстовых провалах и пещерах. А вечером, когда мы изрядно устали, свершилось нечто вроде чуда: мы присели за кофейный столик в галерее знаменитого крытого моста и Павел достал слайды, копии своих работ, где с удивительными подробностями запечатлено было то, что можно было тогда лишь увидеть из будущего... Именно так: из будущего.

Уже после этой встречи прочитал я о том, что на спутниках больших планет нашей системы есть вода. А болгарский художник со смелостью, недоступной иным фантастам, изобразил эти океаны и моря так живо, так красочно, что я поверил ему тогда безоговорочно, и скупые строчки поздних публикаций почти ничего не прибавили к его словам. Удивительная картина — «Космический лебедь»! Символ жизни. Это еще не сбылось. Но я почему-то верю художнику.

Лебедь на картине летит, распластав крылья. Под крыльями — огни звездных миров, спирали галактик. Может быть, здесь, в Ловече, такой прозрачный воздух, что видно далеко окрест — вплоть до звездных скоплений иных миров? Я спросил его об этом.

Павел ответил:

— Да. Мне кажется, это перскресток времен. Дело не только в особой прозрачности горного воздуха. Отсюда видно и прошлое, и будущее.

Мы зашли в его студию.

Жизнь, подобно Афродите, возникла из пены морской. Об этом рассказывало полотно на правой стене. На берегах морей и океанов далеких звездных островов ветры гонят к берегу тончайшую пленку вещества, из которого образуются сложные молекулы.

— Как будто повар-исполин снимает навар с поверхности океанского котла и собирает его на побережьях,— напомнил Павел.— Один ученый считает, что при ветре, дующем в сторону берега, все, что находится на поверхности моря протяженностью в сотни и тысячи миль, может уместиться на полосе побережья и дать начало необыкновенным превращениям. Это строительный материал. Жизнь возникла из морской пены.

Я впервые услышал это от Павла. Потом прочитал в журналах, где печатают статьи ученых. Но долго не мог осознать главного — о нем речь впереди.

Можно лишь гадать, какие механизмы жизни лежат в основе рождающейся в далеких мирах космической фауны. Углерод? Фтор? Кремний? Вряд ли можно раскрыть все секреты неведомых форм жизни -- это было бы уж слишком! Ведь живое может использовать и рои элементарных частиц, об этом говорят не только фантасты. Ростки жизни могут быть сильнее камня, сильнее железа, но как, наверное, непросто будет их разглядеть капитанам звездных кораблей! А художнику это удалось.

Я всматривался в детали целого мира, созданного фантазией. Удивлялся. Подолгу останавливался перед каждой картиной, слушал художника, который тихо прочитал отрывок из бессмертной поэмы Лукреция: «Каким образом случайные встречи атомов, падающих вертикально, но с незаметными отклонениями, и без которых природа ничего бы не произвела, каким образом эти встречи положили основание небу и земле, прорыли бездну океана, установили движение солнца и луны?.. Элементы мира расположились в том порядке, в каком мы их видим, совсем не вследствие ума и размышления: они совсем не услаивались между собой относительно движений, которые

желали сообщить друг другу; но, бесконечные числом, движимые на тысячу разных ладов, подчиненные с незапамятных времен совершенно посторонним толчкам, увлекаемые своей собственной тяжестью, они приближались друг к другу, соединялись друг с другом, при этом возникли тысячи их сочетаний, и, наконец, время, соединения и движение привело их в порядок — они образовали большие массы. Так возник первый абрис земли, морей, неба, одушевленных существ».

На улице была звездная ночь. А я все не мог покинуть студию в Ловече. Пытаясь как бы впитать образы каждой картины, я ощущал бессилие. Меня тревожил скрытый вопрос, но я не находил слов. Я мог бы задать этот вопрос художнику. Но я не сделал этого. И до сих пор жалею об этом. Быть может, придется ему написать.

Можно удивляться прозрению современного человека, увидевшего, точно наяву, далекие планеты. Но как ответить на вопрос, до сих пор мучающий меня?

Да, в старом городе Ловече живет художник, размышляющий о невообразимых далях. Я помню его рукопожатие. Да, по вечерам, когда зажигаются огни над берегом Осыма, Павел берет кисть, и по воле случая или прозрения на холсте возникают диковинные контуры неведомого. Но ведь это все же современный город. И Павел — вполне современный художник, читающий те же журналы, что и мы, думающий примерно о том же. А рядом с нами — вся планета наша с ее тревогами, надеждами, поисками. Ведь живем мы все же в настоящем, даже когда воображение переносит нас далеко-далеко, почти за тридевять земель. Доктор Дж. Уонгерски проводил опыты в лаборатории Йельского университета: через искусственную морскую воду с растворенными в ней органическими веществами пропускал пузырьки воздуха. Оказалось: аминокислоты и некоторые другие вещества, столь важные для построения клеток, прилипали к пузырькам, образуя тончайшую пленку. Воздух транспортировал «строительный материал» на поверхность! Морская пена, похоже, точно так же сбивает в комочки органику — из нее рождается жизнь во многих и многих мирах. Опыты провели совсем недавно. Художник знал о них, но многое сумел домыслить, ведь он живет в нашем, двадцатом веке.

Ну а те, кто жил две тысячи лет назад?.. Те, кто сложил миф об Афродите, вышедшей из пены морской? Ведь у них не было машины времени, как не было ее у Лукреция, правильно понявшего главное: нет в мире ничего, кроме материи и пространства, в котором происходит ее движение.

В какой волшебный прибор надо было заглянуть, чтобы понять, как же возникает жизнь? И сколько я ни думал над этим, я не мог найти ответа. Вот тогда-то, после встречи в Ловече, я стал читать все, что написано об Атлантиде — удивительном острове, где тысячи лет назад люди уже знали и видели то, что стало потом мифами и легендами.

ДАЛЕКАЯ АТЛАНТИДА

Повесть

«Далекая Атлантида» — романтическое произведение о неведомой земле, которая, по словам Платона, располагалась некогда в Атлантике. Но у писателя на этот счет собственная концепция: ему удалось создать стройную гипотезу катаклизма, относящегося к десятому тысячелетию до н.э., в результате которого якобы и погибла Атлантида Платона. Писатель-ученый разыскал во время своих творческих командировок на Дальнем Востоке нечто такое, что, может быть, имеет прямое отношение к решению проблемы. Упавший на Землю гигантский метеорит или даже астероид непременно должен был разбудить земные недра. Вулканический пепел мог осесть после небывалых извержений далеко от главного места действия. И что же? Автор нашел в долине реки Берелех именно вулканический пепел. Это мощные слон глинистого лёсса, в которых и погребены мамонты. Радиоуглерод указывает на время события — 11 800 лет тому назад. К тому же оказалось, что и отложения ила на дне ирландских озер, то есть на другом конце земного шара, — того же возраста...

Это лишь один из примеров, который показывает,

с какими поисками и умозаключениями связан жанр фантастики.

Герои повести «Далекая Атлантида» — люди ищущие, как и сам автор.

*Летчик-космонавт СССР, профессор
К. Феоктистов*

Рута

Над бамбуковой рощей проросли три звезды, когда мы вышли из темной воды, легли на деревянные лежаки, еще теплые, не остывшие после дневного зноя.

— Поймай мне богомола и Расскажи об Атлантиде,— сказала Рута Беридзе.

— Ты видела когда-нибудь богомола? — спросил я, не оборачиваясь к ней, потому что мысленно перенесся к одной из трех звезд и мне не хотелось сразу возвращаться.

— Нет. Ни разу не видела богомола. Только на картинке. Знаю, что это большой зеленый кузнечик.

— Это не кузнечик.

— Знаю, знаю. Но похож!.. В Тбилиси их нет.

— Здесь, на Пицунде, их тоже немного.— Я помолчал и спросил: — Хочешь, Расскажу об Атлантиде? Боюсь только, что ты долго не уснешь потом.

— Это страшно?

— Да. Все атланты погибли во время катастрофы. Было это в незапамятные времена.

— Почему погибли?

— Почему случилась катастрофа?.. Думаю, упал тогда в океан гигантский метеорит, поднял водяной вал с километр или даже больше. Наверное, он пробил земную кору, выплеснулась магма, смешалась с водой, все там вскипело, и град раскаленных камней засыпал волшебный остров. Был взрыв космической силы. Тучи пыли и пара скрыли солнце, луну и звезды на много лет. И потому все в мифах начинается с хаоса. Сначала тьма, тьма, ни моря, ни суши, ни света, потом появляется Солнце.

— Я об этом так мало знаю!

— Но ведь твоя будущая специальность — кибернетика.

— А какая у тебя специальность?

— Атлантолог.

— Как ты ее приобрел?

— Читал Платона. Думал. Читал все, что написано об Атлантиде. Снова думал и читал, но уже по-другому: не соглашаясь с написанным.

— Хорошая специальность, интересная.

— Да. А богомола, Рута, я поймаю завтра, идет?

— Идет, атлантолог... Спокойной ночи!

* * *

В эту ночь мне снился город, древний и полуразрушенный... Вокруг ни души. Город атлантов? Не знаю.

Я всматривался в груды камней, обломки плит, выступавшие из-под земли, в мрачные трещины, разорвавшие улицы пополам. Когда-то здесь всколыхнулась твердь, и город умер. Землетрясение прокатилось, сметая дома, рассыпая их, как игрушки. Сколько с тех пор прошло времени? Во сне я будто бы пытался ответить на этот вопрос. Подспудная мысль становилась яснее и яснее: может быть, время текло здесь иначе, чем всюду. Как такое могло быть? Могло. Если только я видел следы той самой страшной катастрофы, о которой сложили мифы и легенды во многих местах, удаленных от этого города на тысячи километров.

Атлантиде не помогли божества, высеченные из черного базальта. Столица ее вместе с островом погрузилась в морскую пучину. Но по обе стороны океана располагались провинции и колонии атлантов. Что с ними случилось, с этими городами, которые были удалены от эпицентра небывалой катастрофы? И может быть, я видел как раз один из них?

Пустынно на улицах, лишь тень пролетной птицы скользит неслышно по краю провала. Может быть, здесь шумели некогда орды завоевателей, набегавшие, как волны прибоя? Кровь обогрела стены и пороги жилищ, капли ее застыли на солнце, ветер превратил их в пыль. Затем в долгие годы благоденствия женщины с браслетами на запястьях и шиколотках, увешанные драгоценными камнями на подвесках, были главным украшением города,

и живые волшебные лики их после смерти остались на фресках среди домашней утвари, статуй богов, больших и малых, каждый лик хранил улыбку, страсть или невысказанную мысль — на веки вечные. Камни впитывали в себя жизнь людей с их силой и слабостью, удивительными находками ума, заблуждениями и фантазиями. Город мертв, но когда-то он жил своей особой неповторимой жизнью.

Что я вижу вокруг? Вот ящерица скользнула по обломку облицовочной плитки. На грани, присыпанной красноватой землей, остались отпечатки сухоньких лапок. Бусины ее глаз отразили свет на одно мгновение — и пропали. Я не слышу звука шагов — так бывает лишь во сне. Но я внимателен: передо мной неведомое. Ни за что не угадаешь, в какое время я попал, какие боги витали над крышами храмов, на каких наречиях здесь говорили.

Если вдуматься в значение увиденного, то множество догадок будут теснить друг друга, но это случится позже. А сейчас я как бы пробираюсь ощупью, словно в лесу. Свет солнца едва пробивается сквозь сеть лиан. И никого вокруг, кто смог бы ответить на мои вопросы.

За площадью, за разрушенными улицами я угадываю присутствие людей. Они далеко от меня. Может быть, это совсем другие люди, не те, что строили город и жили в нем. Но крепнет убеждение: я потому и увидел этот город, что кто-то здесь есть, кроме меня. И я, возможно, нужен им. Что ж, последуем дальше, на площадь, где теперь грациозно высятся капустные пальмы и папайи. Рядом со мной скользит тень. Очертания тени размыты. Я поднимаю руку, и тень повторяет мой жест. Выхожу на широкую лестницу, укрытую ползучими растениями. Справа и слева — квадратные в сечении колонны из черного камня, передо мной — площадь. Гигантская черная колонна в центре площади служит постаментом — наверху статуя человека, одна рука его покоится на бедре, другая указывает на север. Обелиски из такого же камня установлены по углам площади. На всем — следы забвения, запустения. Упавшие стволы гниют у самого постамента. Можно угадать линии улиц. Камни, из которых были выложены плоские циклопические кровли, обрушились.

Напротив дворца — руины храма. Каменные стены покрыты резьбой, полустершейся от вихрей, несущих песок.

Но когда-то с каменных стен смотрели на людей боги, а над их головами вешали священные птицы. Сверху, с портала, я пытаюсь разобрать надпись. Буквы напоминают греческие, но я не узнаю ни одной из них.

Я вхожу внутрь, вижу статуи, каменную резьбу, глубокие ниши, в которых гнездятся летучие мыши. Отсюда хорошо виден барельеф юноши над главным входом дворца. У юноши безбородое лицо, обнаженный торс, лента через плечо, в руке щит.

С площади — по древней улице. Потом направо. Город — за моей спиной. Оглядываюсь — тени и камни, камни и тени. Внизу — следы, они ведут к пропасти: Под кручей бежит поток, красные и черные глыбы выступают из голубовато-серой воды. Каменный коридор расходится в обе стороны, стены его, снижаясь, сходят на нет. Камень выскальзывает из-под ноги, и я падаю. Руки цепляются за стебли, загибают щебень. Тщетно. Я не могу удержаться на краю обрыва. Остается одно: оттолкнуться из всех сил от кручи и упасть в воду. В считанные мгновения пытаюсь сообразить, как перевернуться в воздухе, чтобы войти в воду ногами. Руки сами собой скребут шершавый край последней каменной плиты, по которой тело мое неумолимо съезжает вниз...

Только проснувшись и вспомнив сон, я осознал опасность. У меня и сейчас кружилась голова от высоты: двести метров, не меньше!

Что-то останавливало меня там... мешало приблизиться к краю обрыва. Что это было? Предчувствие, едва слышный сигнал, который, как ультразвук, остается за порогом восприятия?.. Словно кто-то невидимый предупреждал меня об опасности.

Путешествие Ману

Ранним утром — купание в море. Чаша синей, успокоившейся за ночь воды. Далеко-далеко свистилась широкая струя течения, уходившего на юго-восток, к турецкому берегу; вблизи вода была жемчужно-мерцающей, ленивой, сонной.

И все утро потом — стыдно признаться в этом — я бродил поодаль от Дома творчества в зарослях ежевики,

где надеялся поймать богомола. Ежевика уже созрела, я дотягивался до черных мягких ягод, и моя голубая рубашка стала пестрой от их сока и зелени. Я вернулся в корпус, переоделся, позавтракал. Снова пляж... Рута царственно сидела в тени, ее окружали трое молодых людей. Была она в оранжевой юбке, расшитой бисером, алых туфлях, каблуки которых расписаны золотыми треугольниками, легкой жакетке.

Я расположился неподалеку. Она подошла.

— Вы уже полчаса как пришли и до сих пор не соблаговолили поздороваться со мной!

Так и сказала: «Вы... не соблаговолили...»

— Но что я могу предложить вам,— ответил я в тон ей,— кроме очередного купания? К тому же я не поймал богомола, несмотря на обещание.

— Вздор. Мы будем говорить об Атлантиде.

— Хорошо.

— Продолжайте с того места, на котором вчера мы остановились.

Она присела на лежак, и мы снова перешли с ней на «ты».

— Я расскажу тебе о том, как рыба предупредила Ману о потопе.

— Расскажи. Если это связано с Атлантидой. И если это не сказка.

— Конечно, связано. Потоп случился тогда же. Вслед за Атлантидой погибли многие цветущие города морских побережий. И само собой разумеется, это не сказка.

— Милостиво разрешаю рассказывать...

— Когда-то давным-давно жил мудрец по имени Ману. Много позже его провозгласили богом, как многих мудрецов. Но при жизни нередко было ему несладко от людских козней, и он всерьез подумывал, что пришла пора построить корабль и отплыть к другим берегам.

— Учти, если это окажется сказкой, тебе не поздоровится. Будешь тащить мой чемодан в день моего отъезда до самого вокзала.

— И тебя в придачу. Неужели ты думаешь, что подобная кара остановила бы меня, вздумай я рассказать сказку?

— Продолжай.

— Отдыхая после дневных трудов, Ману увидел ры-

бешку, выброшенную волной на берег. Он поместил ее в кувшин с водой и выхаживал семь месяцев и семь дней, кормил ее крохами со своего стола, не забывал менять воду. Отлучаясь надолго из дома, он поручал заботы о рыбе верному другу Сауаврате. Наконец пришло время расстаться с рыбой, ведь она выросла, и кувшин стал ей тесен. Принес ее Ману на берег реки Ганг, королевы всех рек, положил кувшин в воду. Выплыла из него рыба и говорит-человеческим голосом: «О Ману, самый добрый из мудрецов! Знай, что наступают дни страшного конца всего живого. Будет потоп, и погибнут три мира, погибнут люди и звери, растения и птицы. Построй корабль, Ману, тот самый, о котором ты мечтал. Взойди на корабль и возьми с собой все, что хочешь спасти. Увидишь ты в море на седьмой день плавания мою старшую сестру, великан-рыбу, и она подскажет тебе, куда плыть дальше. На седьмой месяц плавания увидишь мою мать родную, самую большую и мудрую из рыб. Она поможет тебе!» С этими словами всплеснула рыба хвостом и была такова. А Ману задумался...

Задумалась и Рута, словно решая, сказка это или нет. Но вот она едва заметно кивнула, и я продолжал:

— Утром рано, с восходом, вышел Ману к лагуне, заложил корабль и стал каждый день приносить по кедру; звенел бронзовый топор в руках мудреца, ибо знай, Рута, что топоры тогда делались из бронзы, лишь руки у мастеров были золотыми, что же касается железа, то провидцы еще в незапамятное время наложили запрет на него, чтобы оно не смогло привести к гибели лесов, пастбищ и зверя лесного и морского... Вскоре корабль был готов. Киль его соорудил Ману из самого крепкого дерева, мачту поставил такую, что она не ломалась при самом сильном ветре, лишь гнулась и поскрипывала. Все сделал Ману своими руками, все до последнего шпангоута! И отплыл, взяв на борт друзей своих, семена злаков, детенышей зверей. Плыл-плыл, увидел на седьмой день голову огромной рыбы, и что-то она говорила ему, но таким низким голосом и так медленно, что стоял он на якоре еще семь дней и семь ночей, пока не выслушал ее. Указала ему рыба дорогу. И снова пустился корабль в путь со свежим попутным ветром. Семь месяцев незаметно прошли. У Ману отросла такая борода, что, когда он сбрил ее

топором, волос хватило, чтобы подновить такелаж и хорошенько привязать бочки со снедью и питьем на случай будущих невзгод. Вдруг из моря показался живой холм, увенчанный рогом. То была мать-рыба. И понял в тот час мудрый Ману, что надо делать. Привязал он канат к рогу рыбы, и повела рыба судно к самой высокой горе — северной вершине Гималаев. Высадился Ману с друзьями. Целых семь дней ярилась стихия. Начался потоп, исчезла суша под волнами, дожди были такие, что все реки Земли слились. Всемирный потоп. Лишь гора Ману высилась среди вод.

— Сказка! — негромко воскликнула Рута после минутного молчания.

— Ты думаешь, рыбы с рогом не было? Была! Даже сейчас есть такие рыбы.

— Что же это за рыбы, позволь тебя спросить?

— Это глубоководные рыбы. Есть у них на носу и наросты, похожие на рога, и даже белые фонари, которые им освещают путь в глубине, где вечный мрак.

— Об этом я слышала. Но почему вдруг глубоководная рыба всплыла?

— Потому что многие животные и рыбы чувствуют приближение землетрясений. И тогда обитатели глубин всплывают и даже приближаются к самому берегу. Это я твердо знаю, встречался на конференции с японским ученым, который публикует по этой теме статьи.

— Значит, правда?

— Миф, конечно. Люди после катастрофы утратили многие знания, они не только разучились строить корабли и рисовать на стенах пещер — они были на краю гибели. До них дошли отголоски той допотопной истории, и они облекли их в форму мифа. Это и хорошо, в такой образной форме миф дошел до наших дней. Ведь сказки почти бессмертны, в отличие от научных теорий, например, которые быстро стареют. Может быть, я преувеличиваю, но факт остается фактом: древние люди знали о способности животных чувствовать приближение катаклизмов и землетрясений.

— Скажи-ка, — в раздумье произнесла вдруг Рута, — а если на Землю упал астероид или метеорит, то, выходит, рыба смогла угадать время его падения?

— Сложный вопрос, — замаялся я. — Было грандиозное

землетрясение и моретрясение. Я говорил вчера о метеорите. Наверное, именно он виновник всему. Но как рыба могла почувствовать его падение, ума не приложу.

* * *

Легенду о Ману с моими комментариями я когда-то изложил в письме к Хацзу Хироаки, японскому журналисту, с которым познакомился в Москве. Это он рассказал мне о глубоководных рыбах, подплывающих к самому берегу перед землетрясением. Получив мое письмо, он удивился тому бесспорному, с моей точки зрения, факту, что все это имеет отношение к Атлантиде.

Позже он написал мне, что почти так же ведут себя каракатицы, всплывая на поверхность моря за три-четыре дня до стихийного бедствия. Они словно заглядывают в будущее. Любопытная деталь: эти обитательницы глубин становятся вялыми, сонными, очень неохотно выпускают «чернила» — темную жидкость, которая маскирует их. Словом, они впадают в транс, и тайна этого транса почти сопоставима с тайной мифической земли Платона.

Полеты над руинами

Что же это за город? Я снова брел по его полуразрушенным улицам, разыскивал следы, оставленные неизвестными мне людьми. И нашел их. Они привели к реке, но в другое место, не туда, где обрыв и пропасть. Находилось это место, вероятно, выше по течению, за излучиной.

Открылся широкий плес, пологая равнина. Только у окоема я различал скалы и возвышения. Кусты и деревья... Вдали у роши — храм. Пологие ступени вели к колоннаде. Я приблизился к зданию. Оно довольно хорошо сохранилось. На камнях — едва приметные красноватые следы (земля здесь всюду красная, жирная, липкая). Похоже на то, как если бы неизвестные люди прошли здесь незадолго до меня. Следы вели в храм. Я вошел, крикнул. Ответило гулкое эхо, которое долго не затихало. Впечатление было такое, будто я разбудил этот огромный зал и он теперь рад поговорить со мной. Только вот о чем именно соби-

рался он рассказать? И тут я заметил двустворчатую деревянную дверь. Она была похожа на современную, хотя я не сразу это понял. Пока шагал, эхо сопровождало меня, обгоняло и отставало, словно играя. Толкнул дверь, она подалась. Подо мной были ступени, темные камни растрескались, ярко-зеленые пучки травы вылезли из трещин, а ниже я увидел целый парк. Похож он был на французский, шпалеры кустов выстроились так, что с высоты лужайки казались бархатными квадратами и прямоугольниками. И там, в парке, я наконец увидел трех человек. Одеты они были странно: короткие брюки, легкие белые ботинки — и все. В следующее мгновение я заметил еще широкие светлые ремни. И тут же увидел четвертого человека. Он летел над землей на высоте примерно двухсот метров. Нет, у него не было крыльев — он раскинул руки и парил над парком, а трое следили за ним. Человек коснулся рукой пояса и стал медленно, кругами снижаться. Описывал он скручивающуюся спираль, и я насчитал восемь витков. Резкое торможение — и человек сложил руки. Полусогнутые ноги коснулись земли...

* * *

— Ты не находил моей булавки? — спросила Рута за завтраком, улучив минуту, когда наши соседи по столу пошли на кухню за добавочной порцией отварного картофеля.

Я сделал вид, что не расслышал вопроса. В самом деле, что ей ответить? Я отлично знал, о какой булавке шла речь. Это была та самая булавка, которая нередко красовалась на подоле ее юбки. Булавка величиной с мою авторучку. Я думал сначала, что она серебряная, но, когда нашел ее на пляже, в песке, увидел — обыкновенная, стальная. Была у нее любопытная особенность: по металлической проволоке скользил шарик, но не снимался — мешало утолщение. Я и так и сяк рассматривал это утолщение, ограничивающее свободу передвижения шарика, но не мог понять, как оно сделано. Проволока в этом месте раздваивалась, и один ее конец был навит на другой, но так, что витки намертво соединились друг с другом. Позже я понял, что это изображение змеи — вероятнее всего, кобры. Когда-то она считалась священ-

ной. Золотая кобра украшала головной убор Нефертити. Кобра на булавке была продолжением дерева и обвивала это дерево.

— Булавка...— откликнулся я, когда Рута повторила вопрос.— Я где-то видел ее. Кажется, на твоей юбке.

Она замолчала, искоса рассматривая меня. Я не умел лгать, но сейчас вынужден был это сделать. Булавку отдавать сейчас не хотелось. Когда-то я видел образцы таллия, древнего магического металла атлантов. Так вот, шарик на булавке был таллиевый. Я собирался вернуть булавку потом, а сначала — тайно, конечно,— хотел установить, не сохранилась ли древняя традиция работать с таллием в мастерских грузинских умельцев.

* * *

Мы вышли на улицу и направились к базару. Долго ходили вдоль длинных рядов со снедью, и мне все время казалось, что Руту это великолепие не очень интересует.

— Тебе не нравится этот арбуз, красавица?! — воскликнул молодой грузин в черной рубашке с белым галстуком и что-то добавил на своем языке.

— Нравится,— ответила Рута по-русски и прошла мимо, сопровождаемая горячими взглядами базарных за-всегдатаев.

Я обратил внимание, что Рута ни разу не ответила по-грузински, ни разу не остановилась рядом с зазывалами, не проявила интереса к моим переговорам относительно цен. И мы довольно быстро ушли с базара, направившись к курортной зоне, где за широкими воротами разместились огромные корпуса, каждый из которых был назван именем собственным. Вскоре мы оказались возле корпуса «Золотое руно». Я думал, это просто прихоть Руты — побродить по парку,— но это было, судя по всему, не так. Она попросила подождать ее у киоска, где готовился кофе по-турецки. Я заказал кофе, но когда Рута отошла на несколько шагов, последовал за ней. Она остановила меня. В следующую минуту, едва Рута скрылась за углом, я перебежал к другому киоску и увидел, как она вошла в застекленное помещение первого этажа. Я наблюдал. Вот она остановилась у зеркала, постояла и быстро направилась по лестнице вверх.

Только через полчаса я увидел ее сбегавшей по той же лестнице и отпрянул в сторону, чтобы она неслароком не заметила, что я подглядываю за ней.

— Твой кофе остыл,— сказал я, когда она подошла к столу. И тут же заметил на ее юбке большую булавку, в точности такую же, как та, о которой мы недавно беседовали.

Мы вернулись в Дом творчества на автобусе, едва успев к обеду.

После обеда я не пошел на пляж, а отправился в номер, нашел булавку. Острие ее торчало, как антенна. Я приколот булавку к наволочке и отправился на пляж.

Мы сели в верткую плоскодонку, уплыли за мыс, где рыбаки растягивали на шестах сети. На море разгулялась волна, и мы повернули назад. Волны вздымались все выше, и я долго не мог пристать. Наконец мне это удалось, я поднял Руту на руки и вынес на сухой песок. При этом успел заметить, что булавка ее едва держалась на бордовой юбке, потому что была расстегнута. Рута отколола булавку, спрятала ее в сумочку и быстро ушла к себе.

Великий морской змей

От кудлатого облака бежала вечерняя тень. Скрылись куда-то оранжевые бабочки, притихли стрекозы. У края поляны еще изумрудно сияла трава под солнцем, и волны крон оживали под порывом ветра. Тень быстро побежала туда и погасила свет. Вечер стал другим. Проснулась какая-то давняя тревога. Я обогнул озеро, вышел к ресторанчику «Инкит». Название это я переводил как «Чрево кита». Один из отдыхающих приходил сюда по вечерам и кричал официанту: «Три кварка для мистера Марка!»

Я увидел, как дорогу на виду у завсегдатаев «Чрева кита» пересек человек. Ни один из них и бровью не повел, а я встрепенулся вдруг, словно коснулся тайны. Человек шел неторопливо, на нем были светлые ботинки, белые брюки, его каштановые волосы сливались по тону с рубашкой. Я невольно перешел дорогу вслед за ним и понял, почему это сделал: белый кожаный пояс его брюк напомнил мне о полетах во сне.

Я перешел на другую сторону шоссе, обогнал этого человека и наконец рассмотрел его лицо. Да, мы встречались раньше. У реки...

Через несколько минут мы дошли до курортной зоны, и этот человек исчез за воротами, кивнув вахтеру, как знакомому.

Меня же вахтер задержал, потому что визитки отдыхающего в «Золотом руне» или «Дельфине» у меня не оказалось.

* * *

Мне легче описать внешность человека, если ссылаться на археологические примеры. Человек в белых брюках был похож на восточного кроманьонца: выше среднего роста, глаза выпуклые, нос прямой, лоб высокий, но, в общем, его нетрудно спутать в толпе с другими, ведь большинство из нас — прямые потомки восточных кроманьонцев.

Я вернулся к озеру. Сомнений не оставалось: он из тех, кто в моем сне парил близ руин города. Значит, это был не сон?..

Налетел порыв ветра, вспорхнули растрепанные птицы, по озеру прошлись волны ряби. Наступали сумерки.

* * *

Утром следующего дня я проспал завтрак. Руты не было на пляже, и я пошел ее искать. Я спросил о Руте у дежурной по корпусу.

— Высокая такая, красивая, волосы как темная волна...

— Твоя высокая пошла вон в ту сторону... — сказала она. — И не одна, а с молодым человеком.

— С шатеном... в белых брюках?

— С ним.

У следующей остановки автобуса я их увидел. Да, это был тот самый человек. Они попрощались, и Рута быстрым шагом направилась к Дому творчества, а я стоял на месте и не знал, что мне делать. Она увидела меня и как ни в чем не бывало подошла, взяла под руку.

— Расскажи об Атлантиде!

Ресницы Руты дрогнули, глаза погасли и вспыхнули

снова темным огнем. Ее обычная просьба сегодня застала меня врасплох.

— Расскажу, что на ум придет, ладно?

— Ладно,— ответила она.

Я стал рассказывать о Платоне, его предках, его ученике Аристотеле, который осмелял своего учителя, а заодно и Атлантиду.

— Атлантида была островом, который получил в удел Посейдон. Этот бог населил страну своими детьми, зачатыми от смертной женщины. Само слово «бог» не должно служить поводом для немедленного опровержения Платона, ведь наука уже давно доказала, что легенды древних зачастую основаны на подлинных событиях.

— И это правда? — спросила Рута.— Ты веришь?

— Платон выделяет Посейдона среди обитателей острова. А в том, что остров Атлантида был населен, сомневаться не приходится. Об этом говорят концентрические рвы и валы, сходные, в общем, с теми, которые позже, уже в историческое время, сооружались вокруг городов. По Платону, Посейдон был переселенцем. Как он попал на этот остров, можно лишь гадать. Однако заметить, он остался в памяти островитян богом.

— Кем же был Посейдон? — спросила Рута.

— Кроманьонцем.

— Кое-что я о них знаю...

— Это были рослые люди. В пещерах Испании и Франции, даже на Урале, в Кунгурской пещере, остались их росписи. Люди эти были прирожденными художниками. Два дерущихся бизона, изображенные в пещере Дордонь,— это шедевр даже по современным понятиям... Бизон из Альтамиры, голова быка из Ласко, пещерный медведь из Дордони. Могу назвать многие изображения, сохранившиеся до наших дней. Как будто они нарочно рисовали простыми, прочными, не стареющими красками, замешанными на костном жире... Чтобы рисунки сохранились до наших дней... Восточные кроманьонцы строили дома из костей мамонта, из дерева, из дерна. У нас под Владимиром найдена стоянка Сунгирь, где двадцать тысяч лет назад жили такие вот охотники на мамонтов. Откуда они взялись на планете, никто не знает до сих пор... А в Италии найден грот, где похоронен кроманьонец ростом метр девяносто шесть. Я назвал это захоронение

могилой Посейдона. Так вот, могилы таких богов-кроманьонцев все чаще находят рядом с останками обычных людей. Хочешь знать, что это означает, по-моему?

— Конечно. Очень хочу,— сказала Рута.

— Это означает, что кроманьонцы селились среди людей, передавая им знания. Они становились вождями и учили людей противостоять трудностям, не зависеть от природы. Тогда был еще ледник, растаял он лишь после катастрофы, когда Атлантида погрузилась на дно морское и перестала загораживать путь теплому Гольфстриму на север, к Европе.

— Но зачем они бродили по планете? Зачем селились вдали от родины?

— Может быть, то были родственники атлантов, потерпевших кораблекрушение у берегов Европы.

— Что же потом?

— Потом начали таять ледники в Европе, море поднялось. Это был второй, как бы замедленный потоп. Спаслись жители небольших городов внутри страны, в горных долинах.

— Они, эти боги первой зари человечества, уже знали простой парадокс: над природой нельзя властвовать, если не подчиниться ей...

Это сказала она... Мне осталось одно: скрыть изумление, что я и сделал, может быть, несколько неуклюже — замолчал вдруг и стал разглядывать с преувеличенным вниманием камни на дне ручья.

— Ты любишь море...— снова сказала она.

— Да.— И я стал рассказывать ей обо всем, что знал: о летучих рыбках величиной всего лишь с бабочку; о птероподах, моллюсках с крылышками, порхающих в воде, как мотыльки; о рыбах-свистульках и рыбах — аккумуляторах электричества.

Увлечся и вспомнил Великого морского змея.

— В этом году его видели в Атлантике,— сказала она, и я подумал, что ослышался.— Голова у него метровая, глаза как автомобильные фары, хвост и плавники как паруса. Описал его один уругвайский журналист. Змей подплывал к берегу. Что бы это могло означать, атлантолог?

При этих словах меня словно бы ударило током. Я спросил:

— Землетрясение?..

— Да,— ответила она.— Точнее, моретрясение. И случилось оно на пятый день после того, как змея увидели у берега. Он почувствовал... и всплыл. Ведь я твоими словами объясняю это, правда?

Она испытующе смотрела на меня, а я все не мог справиться с замешательством. Вспомнил, что газеты действительно сообщали о морском змее у берегов Уругвая, но не я, а Рута объяснила его появление!

* * *

Роняя книгу на пол и закрывая глаза поздней ночью, я думал о городе. И о Руте. Я связывал теперь ее с этим таинственным городом, видел ее лицо на фоне старых каменных плит. Руины оживали, и я мысленно брел по развалинам, гадая, когда же произошло здесь землетрясение.

Что касается людей, которые летали, то их появление я отнес сначала к области галлюцинаций. Однако вскоре убедился, что ошибся.

* * *

Сегодня в ответ на неожиданный, как мне казалось, вопрос: «Что все происходящее означает?» — Рута обворожительно улыбнулась. Вечером, едва над морем зажглись две красных звезды, она сказала, что уезжает. Куда? Домой. Она не хотела говорить этого заранее. Провожать?.. Нет, не надо. За ней придет машина...

За рулем кремовой «Волги» сидел тот самый человек, которого я видел с ней. Только теперь на нем был костюм серого цвета и острижен он был коротко и оттого, наверное, казался моложе.

— Прощайте! — Она царственно протянула мне руку, и я, следуя странному этикету, коснулся губами ее длинных пальцев.

Машина рванула с места. Она даже не оглянулась.

Утро. Яркое солнце. Я несколько минут лежу с открытыми глазами, потом встаю. Теперь все эти три недели кажутся сном.

Убираю постель, обнаруживаю пропажу. Нет булавки! Обыскиваю комнату. Тщетно. Дожидаюсь уборщицы, начинаю объясняться.

— Да зачем мне ваша булавка! — восклицает она и в сердцах хлопает дверью.

Черная статуэтка

...Незаметно пролетела зима.

Два направления поисков всецело захватили внимание. Я знал наизусть все перекрестки и улицы опустевшего города, бродил там, кажется, не только во сне, по ночам засыпал над картой.

В один из дней грезы о далеком городе, оставленном потомками атлантов, обернулись неожиданным приключением. В семь вечера я оказался в зоологическом музее университета, протиснулся в зал. Здесь должна была состояться лекция по моей теме. Докладчик довольно молод, самоуверен. Сначала он напомнил о недавно обнаруженных британским археологом Мальмстремом двенадцати гватемальских изваяниях. К каждому изваянию археолог подносил компас, и стрелка его отклонялась. Каменные фигуры, изображавшие людей, оказались магнитными. Они старше китайского компаса на две тысячи лет. Какая роль предназначалась им тысячелетия назад? Неизвестно. Кто их создал?

Леонид Петрович Караганов — так звали докладчика — не без иронии привел слова Мальмстрема:

— «Для ольмеков или их предков непознанные законы магнетизма могли быть магической силой, такой же непонятной, как загадочные миграции морских черепах в океане». — А затем добавил: — Так, найденный через четыре тысячи лет после нас обычный чайник может привести наших потомков к выводу: люди двадцатого века считали пар магической силой...

Едва успели оценить критический ум докладчика, едва

утихли смешки, как вдруг я заметил впереди, во втором ряду, человека из моего сна. Он улыбнулся, хотя глаза его остались серьезными и внимательными. Я наблюдал за ним исподволь, когда он оглядывал зал. Это был человек, которого я видел с Руттой... Он внимательно слушал Караганова, иногда что-то записывал в блокнот. Теперь на нем была кожаная куртка.

А докладчик говорил о том, что еще в начале века находили фигурки людей, подобные гватемальским. Но тогда не знали, что они магнитные. Караганов достал фигурку женщины из темного камня. У меня почти не было сомнений: такой же темный камень я где-то уже видел...

Человек, за которым я наблюдал, извлек из своего бокового кармана точно такую же статуэтку. Он держал ее у колен, переводя взгляд со своей вещицы на ту, что демонстрировал Караганов, словно убеждаясь в тождестве или, может быть, отыскивая едва уловимые различия.

Я не спускал с него глаз. Вот человек спрятал статуэтку. Незаметно кивнул, словно одобрил слова Караганова, вспомнившего о старом эксперименте с подобной же статуэткой, найденной в Южной Америке. Статуэтка обладала престранным свойством: каждый, кто брал ее в руку, словно бы ощущал слабое покалывание электрического тока.

— Может быть, это магнитная запись? — сказал Караганов. — Может быть, фигурки намагничены намеренно и слабый электрический ток, покалывающий руку, — сигнал?

И опять человек, за которым я наблюдал, едва заметно кивнул.

— Какое это имеет отношение к Атлантиде? — спросил Караганов. И тут же ответил: — Способ записи вполне мог быть там известен. Послушаем человека, который доверился древнему разуму и записал свои впечатления. Его имя Хокинс. Именно он оказался способен почувствовать, что сигналы несут информацию. Информация эта необыкновенна: не слова возникали в сознании Хокинса, а образы. Атланты владели секретом непосредственной передачи образов. Может быть, записывать образы на камне или на магнитной руде гораздо проще, чем записывать слова? Мы этой тайной еще не овладели. — И Караганов зачитал протокол опыта, написанный Хокинсом: — «Я вижу боль-

шой, неправильной формы континент, простирающийся от северного берега Африки до Южной Америки. На нем многочисленные горы, вулканы. Растительность обильная — субтропического или тропического характера... На африканской стороне континента население редкое. Люди хорошо сложены, необычного, трудно определимого типа... Вереницы людей, похожие на священнослужителей, входят и выходят из храмов; на их первосвященнике, или вожде, надета нагрудная пластина, такая же, как и на фигурке, которую я держу в руке. Внутри храмов темно, над алтарем видно изображение большого глаза... Слышу голос: «Узри судьбу, которая постигает самонадеянных! Они считают, что творец подвержен их влиянию и находится в их власти, но день возмездия настал. Ждать недолго, гляди!..» Вижу вулканы, пылающую лаву, стекающую по склонам... Море вздымается, огромные части суши исчезают под водой...»

«Читайте отчеты Фосетта...»

Я боялся, что после лекции он скроется в толпе и ускользнет. Но мне удалось догнать его.

— Подождите! — крикнул я.

Он оглянулся, но не остановился. Я взял его за рукав кожаной куртки, сказал первое, что пришло в голову:

— Мы с вами где-то встречались...

— Быть может.

— Я видел вас на Пицунде.

— Вероятно. — Он был невозмутим.

Мимо нас шли люди, и мы отступили в угол просторного холла.

— У меня к вам вопрос...

— Ну что ж... — Он кивнул, как там, на лекции, — изящно, легко.

— Где нашли статуэтку?

— Читайте отчеты Фосетта, — ответил он, ни на секунду не задумавшись.

— Но у Фосетта нет ответа на этот вопрос!

— Попробуйте прочесть документы, на которые он ссылался. Извините, но по некоторым причинам я не могу прямо ответить на ваш вопрос...

В ту же ночь я прочел все отчеты и документы, упомянутые англичанином Перси Гаррисоном Фосеттом, который на свой страх и риск отправился в начале века в бразильские джунгли. Он грезил городами атлантов, которые могли остаться там, вдали от современной цивилизации. Он собирал по крупицам свидетельства конкистадоров и искателей золота инков. За безуспешные, в общем, поиски он заплатил жизнью. Следы его последней экспедиции утеряны. Быть может, навсегда.

Фернанду Рапозо был один из тех, кто оставил записи о своих путешествиях в те загадочные земли. Фосетт изучал эти записи. К утру я обнаружил нечто поразительное: в записях Рапозо есть место, где говорится о городе моих грез. О том самом городе! Я перечитывал страницу за страницей и не верил своим глазам.

Почти все я узнавал в описании, оставленном искателями приключений. Только тогда джунгли еще не успели скрыть город, и он был залит солнечным светом. Вот они, эти страницы...

«...Отряд шел по болотистой, покрытой густыми зарослями местности, вдруг впереди показалась поросшая травой равнина с узкими полосками леса, а за нею — вершины гор». Рапозо описывает их весьма поэтично: «Казалось, горы достигают неба и служат треном ветру и даже самым звездам».

«Это были необычные горы. Когда отряд стал подходить ближе, их склоны озарились ярким пламенем: шел дождь, и заходящее солнце отсвечивало в мокрых скалах, сложенных кристаллическими породами и дымчатым кварцем, обычным для этой части Бразилии. Склоны казались усеянными драгоценными камнями. Со скалы на скалу низвергались потоки, а над гребнем хребта повисла радуга, словно указывая, что сокровища следует искать у ее основания».

— Знамение! — вскричал Рапозо. — Мы нашли сокровищницу!

Пришла ночь, и люди были вынуждены сделать привал, прежде чем достигли подножия этих удивительных гор. На следующее утро, когда взошло солнце, они увидели перед собой черные грозные скалы.

Люди разбили лагерь и расположились отдыхать, как вдруг из зарослей донеслись бессвязные возгласы и треск. Люди вскочили на ноги и схватились за оружие. Из чащи вышли двое.

— Хозяин! — закричали они, обращаясь к Рапозо. — Мы нашли дорогу в горы!

Бродя в невысоких зарослях в поисках дров для костра, они увидели высохшее дерево, стоявшее на берегу небольшого ручья. Лучшего топлива нельзя было и желать, и оба португальца направились к дереву, как вдруг на другой берег ручья выскочил олень и тут же исчез за выступом скалы. Сорвав с плеч ружье, они бросились за ним.

Животное исчезло, но за скалой они обнаружили глубокую расщелину и увидели, что по ней можно взобраться на вершину горы.

Об отдыхе тотчас забыли. Лагерь свернули, люди с поклажей отправились вперед. Искатели приключений один за другим вошли в расщелину и убедились, что дальше она расширяется. Идти было трудно, хотя местами дно расщелины напоминало старую мостовую, а на ее гладких стенах виднелись полустершиеся следы обработки каким-то инструментом. Друзы кристаллов и выходы белопенного кварца наводили на мысль о сказочной стране. В тусклом свете, среди ползучих растений, все представлялось волшебным.

Через три часа мучительного подъема, ободранные, задыхающиеся, они вышли на край уступа, господствующего над окружающей равниной. Путь отсюда до гребня горы был свободен, и скоро они стали плечом к плечу на вершине, пораженные открывшейся перед ними картиной.

Внизу на расстоянии примерно четырех миль лежал огромный город.

Они отпрянули и бросились под укрытие скал, боясь, что жители города — а это могло быть поселение ненавистных испанцев — заметят их фигуры на фоне неба.

Рапозо ползком поднялся на гребень скалы и лежа осмотрел местность вокруг. Горная цепь простиралась с юго-востока на северо-запад; дальше к северу виднелся подернутый дымкой сплошной лесной массив. Прямо перед ним расстилалась обширная равнина, вся в зеленых и коричневых пятнах, местами, на ней блестели озера. Ка-

менистая тропа, по которой они прошли, продолжалась на другой стороне хребта и, спускаясь, уходила за пределы видимости, потом появлялась снова, извиваясь по равнине, и терялась в растительности, окружавшей городские стены. Никаких признаков жизни не было заметно.

Рапозо подал знак своим спутникам. Один за другим они переползли через гребень горы и укрылись за кустарником и утесами. Затем отряд осторожно спустился по склону в долину и, сойдя с тропы, стал лагерем около небольшого ручья с чистой водой...

На следующий день утром Рапозо выслал вперед авангард из четырех индейцев и последовал за ним с остальными людьми. Когда они приблизились к поросшим травой стенам, индейцы-разведчики встретили их тем же докладом: город покинут. Все направились по тропе к проходу под тремя арками, сложенными из каменных плит.

Над центральной аркой в растрескавшемся от непогоды камне были высечены какие-то знаки. Глубокой древностью веяло от всего увиденного.

Арки все еще были в хорошей сохранности, лишь две гигантские подпорки слегка сдвинулись со своих оснований. Пройдя под арками, люди вышли на широкую улицу, усеянную обломками колонн и каменными глыбами, облепленными растениями-паразитами. С каждой стороны улицы стояли двухэтажные дома, построенные из крупных каменных блоков, подогнанных друг к другу с невероятной точностью; портики, суживающиеся вверху и широкие внизу, были украшены искусной резьбой, изображавшей демонов.

На площади возвышалась огромная колонна из черного камня, а на ней — отлично сохранившаяся статуя человека; одна его рука покоилась на бедре, другая, вытянутая вперед, указывала на север.

Величавость монумента поражала. Португальцы благоговейно замерли. Покрытые резьбой и частично разрушенные обелиски из того же черного камня украшали углы площади, а одну ее сторону занимало строение, воистину совершенное по форме и отделке.

Над главным входом высилось резное изображение юноши: безбородое лицо, голый торс, лента через плечо, в руке щит. Голова увенчана лавровым венком. Внизу

была надпись из букв, походивших на древнегреческие.

Напротив дворца находились руины другого огромного здания. Уцелевшие каменные стены были покрыты стершейся от времени резьбой, изображающей людей, животных и птиц, а сверху портала — надпись теми же буквами.

Кроме площади и главной улицы, город был совершенно разрушен. В некоторых местах обломки зданий оказались прямо-таки погребенными под целыми холмами земли, на которых, однако, не росло ни травинки. То тут, то там встречались зияющие расщелины, и, когда в них бросали камни, звука падения на дно не было слышно...»

Далее в описании говорилось о том, как путешественники переправились вброд через реку, перессекли болота и вышли к одиноко стоявшему примерно в четверти мили от реки дому. Он стоял на возвышении, и к нему вела каменная лестница с разноцветными ступенями. Фасад дома простирался в длину не менее чем на двести пятьдесят шагов. Внушительный вход за прямоугольной каменной плитой, на которой были вырезаны письмена, вел в просторный зал, где сохранились резьба и украшения.

Это была школа жрецов. Я узнал ее по описанию! Близ этого здания я видел летающих людей!

~ * ~

Утром я шел по нашей улице с восьмизэтажными домами и не слышал шума автомашин. Кто-то толкнул меня, кого-то толкнул я... У телефона-автомата очередь. Только увидев эту очередь, я понял, что надо делать — позвонить Санину.

...Его не было дома. Я стоял возле телефонной будки и обдумывал версию Фосетта — Рапозо. Черная фигурка — из этого города?.. Может, это и есть город атлантов? Или он мог быть построен на месте древнейшего поселения атлантов. Науке такие случаи известны. Троя, например, отстраивалась много раз — на том же самом месте.

Я стоял у телефонной будки и, помнится, вздрогнул от неожиданной мысли: город не иллюзия, не сон, он существует, его до сих пор прячут джунгли. Значит, те люди действительно летали там у берега реки. Летали. Все

правда. Вот почему тот человек не захотел отвечать мне прямо. Он кинул приманку — и я, как голавль, взял ее и попался на крючок. А он исчез. Иначе ведь ему пришлось бы объяснять мне, кто он и откуда прибыл на эту лекцию. Кто он?! И кто она, Рута?! Может, они и выкрали у меня булавку, имея на то серьезные основания? Может, их в гораздо большей степени, чем меня, интересует Атлантида?!

Снова Рута

Я, кажется, не обманывался: город являлся во сне потому, что необыкновенная булавка с таллиевым шариком когда-то покоилась под моей подушкой и принимала сигналы оттуда... Возможно ли это? А без булавки? Если по-настоящему захотеть и все время думать о Руте? Мне уже начинало казаться, что мои воспоминания о городе тускнеют, блекнут, будто отделяются от меня завесой.

И вот однажды...

* * *

Я увидел скалу, с уступом, возвышавшуюся над заливом. Человек сидел на уступе, трое других взбирались на плоскую вершину скалы. Краски медленно менялись. Блекли пепельно-синие полосы, рождались зеленые и голубые оттенки. От ветра и вихрей хороводы бликов на растревоженной воде расширялись, потом угасали, на песок под утесом мерно набегали белопенные гребни.

Я не видел лиц этих людей.

Послышались шаги. Ее шаги. Хрустнула галька. Рута стояла под скалой, в руке у нее — туфли с каблуками, расписанными золотыми линиями, и она смотрела на меня так внимательно, что не ощущала пены, kloкотавшей под ее ногами.

Будто бы она рассказывала мне об Атлантиде:

— Я видела, что осталось от былой страны грез... Сначала показался остров Санта-Мария с шестисотметровой горой Пику-Алту. Самолет наш летел низко, и я видела темную воду океана и более светлую над об-

ширной скалистой банкой. Остров покоился на ней, как шапка волшебника, укрывающая утонувшее плато. На всем протяжении берега круто обрывались в море, за ними начинались апельсиновые рощи, виноградники, хлебные поля, в складках гор виднелись белые строения. Скалистый утес мыса Каштелу на сотню метров высился над водой. На его плече — маяк Гонсалу-Велью. Этот маяк словно отмечал то место суши, которое ближе всего придвинуто к бывшей столице атлантов...

— Ты побывала на Азорах?

— О нет, я видела их с самолета. Это был, как бы тебе сказать, туристский рейс, посадки посреди Атлантики не предусматривалось. Но мы пролетели вдоль островной дуги. Остров Сан-Мигель с пиком Вара тянулся как стена. Берега тут обрывисты, а на западной оконечности — базальтовые глыбы, отвесные и голые. Здесь наблюдаются магнитные аномалии. Самолет взял курс на запад, и я мысленно распрощалась с Атлантидой. Никто не подумал бы, что она располагалась именно здесь, и горы ее были втрое выше, чем сейчас. Они курились, и призрачные столбы желто-зеленоватого дыма достигали стратосферы, свивались, образуя ствол причудливого дерева.

— Не здесь ли возникли мифы о дереве мира?..

— Я видела весь архипелаг. Ничего похожего на Атлантиду...

— Назови свое настоящее имя? — попросил я.

— Рутте, — сказала она.

— И давно вы здесь... у нас?

— О да. Скоро я расскажу тебе все.

— Ты видела этот город? Ты сделала так, чтобы я тебя услышал и увидел?

— Да, да!

И неотвязным видением преследовала меня с этих пор женщина, чей образ я наполовину выдумал, но которая теперь олицетворяла вечный круг звезд и планет.

Встреча

Рута остановилась в гостинице «Украина», где в просторных старомодных коридорах и холлах звуки гаснут, едва успев родиться, где в полусумраке цветут бразильские

лилии, где метровые стены отгораживают вас от уличного шума и от людей.

В номере горел голубой свет кварцевой лампы, Рута была в черной блузке со шнурками бордового цвета на рукавах и груди. Тонкая шея была открыта; она заявила мне, что лечится от простуды, а кварц привез какой-то неизвестный поклонник вместе с букетом цветов (на окне загоразживал дневной свет изрядный веник полуувядших астр). Рута была в театре, и сосед по креслу сразу определил, что ей нездоровится. Так оно и было.

В ней многое изменилось за тот год, что мы не виделись. Была она бледна, черты лица заострились. Волосы, иссиня-черные, были собраны в пучок, очки в черной оправе старили ее. На ней все было темное, до антрацитового блеска, даже туфли и нсйлон. Мы выключили кварц. В тусклом дневном свете, едва проникавшем из-за цветов на подоконнике, лицо ее обрело живые краски.

— Можно поцеловать твою руку?

— Можно.

— Можно я буду твоим поклонником?

— Можно, можно...

Ее рука легла на мою голову, и я почти со страхом вдруг стал различать оттенки черного: темно-сизый рисунок на юбке, угольно-черные складки на тонком колене, обсидиановой блеск туфель, сверкание графитовых чешуек и зерен на щиколотке. Как будто сияли валторны в темноте, когда свет скорее угадывается, чем ощущается. Казалось, что все в комнате стало призрачным.

Словно две огромные черные ольхи, выпрямившись, непроницаемо закрыли от меня половину пространства комнаты, потом другую ее половину, и вверху среди электрического шороха слышались низкие звуки дыхания, как будто это дрожали валторны от неумелых прикосновений музыканта или птица на взлете хлопала крыльями. В темном зеркале напротив отражались глаза. Все остальное непередаваемо искажалось мертвым стеклом: крылья неведомых птиц скользили по черной тонкой коре деревьев, пересекая их поперек и наискось от самого низа до самого верха.

Потом — минута прозрения, ясности.

Я тонул в тенях от ее ног, на светлом фоне они снова напоминали о деревьях, и все были преувеличенным, фан-

тастическим, черное слепило меня, попадая в снопы тусклого света, белое успокаивало. В настенном зеркале промелькнули мои расширившиеся глаза, зерна зрачков были чужими, я не узнал себя. Что это стряслось со мной сегодня? Все вокруг испускало теплые, даже горячие лучи, как если бы из преисподней поднялось вулканическое тепло.

— Я думал о тебе...

— Знаю, знаю...

* * *

— Жрец из египетского города Саиса, о котором упоминает Платон в своих диалогах, сказал: «Светила, движущиеся в небе и кругом Земли, отклоняются от своего пути, и через долгие промежутки времени все находящееся на Земле истребляется посредством сильного огня». Это так точно, что ни одна из гипотез гибели Атлантиды ничего не добавила к этим доводам. Ни предположение о захвате Луны нашей планетой, ни ссылки на столкнувшийся с Землей астероид не новы: жрец сказал все это и даже много больше в свойственной древним лаконичной манере... Я много раз читал это место у Платона, но понял не сразу. Что к этому можно добавить?

— Добавить можно многое,— сказала Рута.— Если бы ты знал, как мне страшно иногда становится от мысли, что должен преодолеть разум, познающий космос! Вечная борьба... столкновения интересов... странные формы жизни, которые вдруг выползают, точно призраки и гидры, из неведомых областей пространства, того самого, которое мы вчера считали познанным, изученным и совсем-совсем нашим.

— Что ты говоришь! Разве так уж много обитаемых планет в ближайшей окрестности?

— Я говорю не только о планетах. Разве ты не слышал, что жизнь существует иногда при очень высоких температурах? И не только бактерии, но и моллюски, и членистоногие. В вулканических разломах порой образуются новые формы. Чего от них ждать, никто не знает. Об этом даже не задумываются. И генетический код вовсе не универсален. И это здесь, на Земле. А там?..

— Где там?..

— В горячих океанах планет-гигантов, обращающихся около звезд главной последовательности. На спутниках пульсаров. В недрах полустывших солнц...

— И там есть жизнь?

— Цепь жизни бесконечна в пространстве и времени, вечна, неуничтожима, как и вся материя. За миллиарды лет она совершенствовалась во всех направлениях и создала, породила феномен разума. Но породила и другое — способность отрицать разум. Этой способностью она наделила изумительно стойкие соединения молекул и атомов, которые страшнее ржавчины. Но отрицать разум могут лишь носители антиразума. Этот антиразум тоже форма разума, как это ни парадоксально звучит. Он лишь борется с нашей формой, но борется по своим законам, познать которые мы не смогли. Но мы знаем, что за много лет Саисский астероид — позволь мне его так называть — потерял изрядную долю вещества. Он весь был словно источен червями. Неведомая сила столкнула его затем с орбиты, и он упал на Землю. Произошла катастрофа, тебе известная...

— Не может быть!

— Это так. Атланты-кроманьонцы погибли. Совсем другие формы жизни могли бы восторжествовать после того на опустошенной планете. Но случилось второе чудо: человек устоял. Как это произошло, мы не знаем. Ведь планета погрузилась во тьму, в хаос на многие десятилетия. Что было потом? Мы должны это узнать. Это важнее, чем ты можешь себе представить... Проникшие на Землю носители антиразума были подавлены. Может быть, сыграло свою роль биополе? Никто из нас не может пока ответить на подобные вопросы. Вот почему мы изучаем древние руины, первобытные тропы. Они нужны нам в неприкосновенности. От этого зависит будущее. Если вы утратите те качества, которыми обладал кроманьонец с его поразительной стойкостью, силой, непревзойденным умом, чувством ритма, интуицией, художественным чутьем и умением, то более никто не остановит врага ни на дальних, ни на ближних подступах. Кто помогал кроманьонцам? Не было ли у них союзников и покровителей там, в космосе? Эта сфера знания пока «терра инкогнита».

— «Терра инкогнита»... — откликнулся я, и голос мой прозвучал для меня самого странно.

Рута сказала все, ей было безразлично, верю ли я сказанному.

— Ты можешь считать это фантазиями, но не исключено, что антиразум, не одолев кроманьонца сразу, лишь дал отсрочку. Он готовился к прыжку. Он точно рассчитал, что человек изменит мир и, изменив его, изменится сам. Тогда и то и другое станет его легкой добычей. Не подкрадывается ли он к нам с неожиданной стороны, откуда никто не ожидает нападения?

— Откуда же, Рута?

— Изнутри. Из наших собственных живых клеток. Не готовит ли он себе обитель в генах? Иначе как объяснить логику тех, кто отказывается думать и заботиться о будущем? И это тоже «терра инкогнита».

— Неизвестная земля. Это будущее, о котором некоторые не хотят думать, принося его в жертву сиюминутности...

В этот день я услышал и об экспедиции Хуана Беррона.

— Это аргентинец,— сказала она спокойно,— живет в Париже, там же вышла его книга о поисках Перси Гаррисона Фосетта. В предисловии к ней Хуан Беррон писал, что поиски пропавшей в 1925 году в дебрях Амазонки группы Фосетта были лишь предлогом, главной же целью экспедиции следует считать съемку экзотического фильма. Следует считать...— Она откинула голову так, что бусины ее зрачков сузились от света, и пристально посмотрела на меня, словно ждала моего мнения.

Я ничего не знал об экспедиции Беррона.

— Съемка экзотического фильма,— повторила она.— И ради этого участники экспедиции подвергались смертельной опасности! Их ждали встречи с электрическими угрями, разряд которых парализует человека, черными пятиметровыми кайманами, красными муравьями, змеями и пауками-птицеедами, от одного вида которых сошел с ума и застрелился летчик, совершивший вынужденную посадку в Мату-Гросу! Не слишком ли скромна цель, которую поставил Хуан Беррон?

... Но ведь и съемки кинофильма о джунглях — задача не из простых,— заметил я.— До сих пор этот район мало изучен... И Фосетт был прав, когда выражал надежду на встречу с неведомым именно здесь.

... Фосетт был прав. Вот только фильмов многовато.

Беррон не такой человек, чтобы рисковать своей жизнью из-за сто первого ролика о жизни тропического леса, похожего на сто других.

— Неужели ему не удалось снять ничего нового?

— Удалось, конечно. Но если ты увидишь ленту, то сам убедишься, что только для этого он вряд ли стал бы снаряжать экспедицию.

— У вас есть фильм?

— Да. Копия. Может быть, как раз очень разумно выступить в роли беспристрастного свидетеля именно тебе. Думаю, ты сможешь рассудить, прав или не прав был Беррон.

— Ты говоришь так, словно знаешь о подлинной цели экспедиции, и умалчиваешь о ней нарочно, чтобы я сам догадался. Так?

— Ты прав. Хочу, чтобы ты сам догадался. А заодно увидел то, что пора научиться замечать всем.

— Мне нужно посмотреть фильм Беррона. Он имеет отношение к антиразуму?

— Ты сам должен это решить.

— Я могу взять ролик с собой?

— Конечно. Можешь считать это причудой инопланетянки.

— Булавка на юбке тоже причуда?

— Нет, средство дальней видеосвязи...

— ...Видеосвязи участницы экспедиции с другими участниками.

— Нет, отпускницы. Ведь на Пицунде я отдыхала. А база наша близ Хосты. Там у меня отец.

Каринто

Едва я успел узнать имя одного из знакомых Руты (его звали Каринто), как случилось несчастье. Этот человек когда-то говорил со мной об экспедиции Фосетта... вместе с другими он летал близ развалин древнего храма... Это был отдых, обычный для них отдых после работы. Двустворчатая дверь храма — их рук дело: уж больно досаждали по ночам летучие мыши. Каринто не стало. Я больше не увижу человека с другой планеты, который иногда прилетал в Москву на лекции об Атлантиде!

Несчастье произошло через полтора часа после того, как я покинул гостиницу.

На следующий день я был у Руты. Я чувствовал себя теперь как бы одним из них: так хотела Рута.

Я узнал историю авиакатастрофы, в которой погиб Каринто, из сегодняшней газеты, выходящей на испанском. Светящаяся строчка перевода — для меня — скользнула по столбцу, и комната, как мне показалось, вдруг наполнилась прозрачным удушливым дымом.

* * *

— Антиразум маскируется,— медленно проговорила Рута.

— Значит, его нельзя отличить от проявлений разума, от обычных законов природы?

— Можно. Антиразум вручает человеку панацею от всех бед, но она делает его несчастным. Некоторым людям свойственно выбирать самые легкие пути, им свойственно... экономия мышления, если выражение это уместно...

— Там, в самолете... Каринто столкнулся с антиразумом?

— Да. Из другой ситуации он вышел бы победителем. Антиразум — самый могущественный наш враг, ему нет равных ни на одной из известных нам планет. Ни молнии, разрывающие горячую атмосферу Венеры, ни океан жидкого водорода на Юпитере, ни вулканы Ио, его спутника, ни жидкий этан на Титане, обращающемся вокруг Сатурна, ни раскаленные жерла и вихри других звезд и планет — ничто не сравнится с антиразумом. Хотя внешне он может принять любую самую безобидную форму, перевоплотиться в фею, сирену, грациозного скакуна, девушку под часами, друга, шахматную фигуру, пожертвованную без достаточных оснований, в фешенебельный ресторан, дачу, автомобиль, даже книгу.

...Родригес Мора — я буду называть его так, как называл репортер, не знавший подлинного имени,— сел в самолет в Гайане. Полагаю, при нем были кое-какие материалы экспедиции к развалинам города. Позже Рута подтвердила это... в Порт-оф-Спейн — столице Тринидада-и-Тобаго — самолет приземлился, принял на борт не-

скольких пассажиров на пустовавшие места. Произошла заминка с багажом. Однако расписание не было нарушено. Родригес Мора задремал и будто бы пробормотал во сне: «Уберите черного щенка!»

— Даже во сне он говорил только на испанском! — пояснила Рута.— Это необходимое условие подготовки к нашим экспедициям. Не было случая, чтобы люди наши проговорились или растерялись,— это для нас равносильно катастрофе. А Каринто — один из лучших наших десантников.

Однако на этот раз он чуть не выдал себя. Странная фраза о щенке запомнилась пассажирам, и один из них готов был позднее взвалить вину на самого Родригеса. Это могло оказаться удобным даже для правосудия, поскольку никто не знал, куда ведут концы той нити, которая связана с катастрофой.

Показался остров среди синего моря, окаймленный белыми полосами прибоя, рощами пальм, пляжами и голубым мелководьем, где поднимали паруса яхты и прогулочные катера с экскурсантами на борту спешили от причала к причалу. Родригес Мора проснулся, отчетливо произнес:

— Барбадос.

Самолет подрулил к двухэтажному зданию аэропорта Сиуэлл. Пассажиры вышли. Родригес Мора вышел последним. У него был такой вид, пишет репортер, что казалось, будто он заболел в полете. Однако, когда кто-то вызвал врача, он вежливо отказался от услуг. За десять минут до посадки, откуда ни возьмись, выскочила черная собачонка. Опрометью бросилась она к самолету и исчезла. Никто не успел толком понять, что произошло. Ее не было нигде, вот и все. Конечно, если бы тогда знали, к чему приведет это маленькое происшествие, то свидетелей было бы больше и они были бы более внимательны. Это так. Родригес Мора и бровью не повел. Но два этих факта — появление черного щенка и оброненная во сне фраза — все же привлекли вниманис. Возможно, только потому, что Родригесом заинтересовался врач. И врачу этому кто-то сказал, что Родригес бредил в полете. Слова о черном щенке стали достоянием прессы. Что это было? Рута не знала. Десантники могут предугадывать ход событий в экстремальных ситуациях. Долгие тренировки

вырабатывают это умение. Но тут кто-то мешал Родригесу-Каринто.

Самолет взлетел. Через четверть часа после этого в башне командно-диспетчерского пункта аэропорта ожил динамик:

— Сиуэлл! Внимание!..

И все. Ни одного слова больше. Самолет развернулся и взял курс обратно на Сиуэлл. Туристы и купальщики видели, как машина, сверкая на солнце, неслась к морю по снижавшейся траектории. За самолетом тянулся дымный след.

— Родригес погиб,— сказала Рута.— Это мы узнали вчера, до выхода газет. Он мог бы воспользоваться неприкосновенным запасом, который дается любому из нас. Что это значит? Ты видел, как они летали над городом... Он мог открыть люк и выброситься из него. Было мало времени. С самой простой земной техникой вроде задраенного люка не так-то просто совладать. А может быть, он хотел кого-то спасти. Не успел. Или ему помешали. Кто? Мы не знаем. Да, есть антиразум. Но чудес не бывает. Должен быть и материальный его носитель.

Рута рассказала, что спасатели нашли самолет на глубине тридцати семи метров. Погибло семьдесят девять человек.

Один из них был Каринто, он же Родригес Мора, десантник тридцати восьми лет, прошедший на Земле около года в поисках истоков человеческого разума и врагов его, бесстрашный и благородный, как все десантники, направлявшиеся на планеты.

История с черным щенком успела стать газетной сенсацией. Когда к месту катастрофы подошло спасательное судно, когда разрезали автогенном фюзеляж и водолазы выполнили свой долг, тогда во время последнего, восемнадцатого погружения один из них нашел в хвостовой части самолета черную собачонку. Она походила на простую дворняжку. Вот только внутренностей у нее не было. И брюшная полость ее оказалась раскрыта, как если бы это была старомодная меховая муфта, которую разрезали ножницами вдоль. Что туда было вложено? Взрывчатка?..

Теперь я знал: антиразум мешал поискам Атлантиды, мешал вообще всем поискам.

У меня была копия фильма Беррона, и я не нашел ничего лучшего, как посвятить в эту тайну своего друга Владимира Санина. Почему этого не следовало делать? Да потому, что я уже вполне осознал опасность антиразума.

...Это было дома у Санина, на Часовой улице. Он включил проектор, и мы стали смотреть фильм, припоминая соответствующие места из книги. Выражение лица Санина, его легкие брови, выпуклые светлые глаза, светившиеся в полутьме, подсказали мне в тот вечер мысль, что он похож на кроманьонского следопыта. Удлиненная его голова отбрасывала на стену тень, неровный овал которой свидетельствовал в пользу моего наблюдения: ведь кроманьонцы — долихоцефалы, длинноголовые.

Теперь я должен предоставить слово Беррону. (У нас были его фильмы и книга — живое свидетельство путешествия, тайну которого предстояло раскрыть. Но это можно сделать, лишь выслушав участника и очевидца.)

* * *

...Ночь темна, вода кипит в водоворотах, подхватывает наши катера, разворачивает их, сталкивает и бросает на вырванные с корнем деревья, мчащиеся в неудержимом потоке. К полудню мы оказываемся в более широкой части реки Арари. Но она мелководна, и нам то и дело приходится прыгивать в воду, чтобы облегчить лодки и перетащить их через мели. Изнуренные, мы решаем передохнуть на ферме Белем.

Ферма Белем — бедный домишко на деревянных сваях с крышей из пальмовых листьев. Впрочем, в этом районе любое жилище напоминает большой зонтик, защищающий его обитателей от дождя и солнца: температура 25 градусов здесь держится круглый год. Гамак, маленький сундук, заменяющий шкаф, стул, кастрюля и обязательный кофсийник — вот и весь нехитрый скарб фермы. В каждом доме есть и оружие — мачете, напоминающее саблю. С его помощью люди прокладывают себе дорогу в тропическом лесу, режут хлеб, когда он есть, разрубают туши животных, открывают консервные банки.

Мы голодны, но на ферме почти нет съестного. Хозяйка дала нам лишь по маленькой тарелке мучной кашицы из корня маниоки, а ее муж любезно предложил по чашке кофе и обещал вечером устроить пиршество. Здесь никогда не спешат и все говорят «эспера» — подожди!

Расположившись на полу, мы наслаждаемся кофе. Через дыру в полу Жерар замечает, что под нами что-то копошится. Огороженное под домом место кишит кайманами. Нанятый нами во время экспедиции известный по всей Амазонке охотник и укротитель животных Мишель сказал, что кайманы съедобны. Они могут обходиться без пищи и воды два-три месяца. Их сохраняют живыми, потому что на жаре мясо портится с невероятной быстротой.

Несмотря на усталость, мы идем смотреть, как хозяин выпустит из ямы одного из своих двухметровых пленников. Извлеченный наружу кайман шумно дышит, упирается, сопротивляясь человеку. Мишель ударами топора удивительно легко и точно отрубает ему голову, отделяет хвост. Тело и голова отброшены в сторону, а хвост, являющийся единственной съедобной частью, разделяется на большие куски. Он будет зажарен...

* * *

Что-то было в этом фильме... такое, что настораживало, пугало. Я не мог понять причину. Группа выходила на поляну или на берег реки, но лица у многих оставались равнодушными, как бы кукольными, словно их не привлекала новизна, не радовало открывшееся небо. Как объяснить это? Если кто-то и выражал свои чувства, то звучало это не совсем естественно. Слово — Беррону.

* * *

...Индейцы идут легко, без затруднений ориентируясь в зарослях. Мы же, наоборот, испытываем муки ада, пробираясь через сеть ветвей, длинных тонких лиан, режущих, колющих, превращающихся в подвижные кольца вокруг шеи и ног как раз в тот момент, когда нужно прыгать через влажные и вязкие корни.



Очередной привал. Люди располагаются на циновках, горит костер перед входом в большую палатку, над огнем булькает вода в котелке, подвешенном на треноге. И вдруг тренога исчезает. На одно мгновение. Но у меня быстрая реакция, и я успеваю отметить сей немаловажный факт. Этой треноги — связанных коротких жердей — не было долю секунды. Для режиссера это могло пройти незамеченным. Равно как и для зрителя, впрочем. Или фильм монтировался в такой спешке, что сюда попал предыдущий кусок ленты, соответствующий моменту, когда горел костер, но тренога еще не была установлена?

Новые кадры...

Индейцы, вооруженные сарбаканами, которые могут быть приняты за ветки, прячутся среди листвы или в дуплах деревьев. В небольшом футляре, висящем на шее, они носят стрелы, уамири, длиной в тридцать сантиметров, с остриями, смоченными в настойках из различных растений, среди которых самым страшным является яд кураре, или урари, убивающий в три минуты...

* * *

Зачем Беррону понадобилось объявлять, что цель экспедиции — поиски Фосетта, а затем опровергать себя, заявляя, что поиски эти лишь предлог? Почему Беррона интересовали рассказы о племени живарос и высушенных человеческих головах?

Ответ мог быть только один: Беррон хотел убедиться, что, зная тропический лес так, как знал его Фосетт, можно пройти самым сложным маршрутом. У Фосетта были проводники. Кроме того, Фосетт знал историю, нравы и обычаи индейцев, уважал их, и ему, конечно же, не угрожало многое из того, что представляет смертельную опасность для новичков.

— У меня сложилось мнение, что он все же искал следы Фосетта, — сказал Санин, когда я спросил его об этом.

Я был согласен с ним. И все же почему Беррон отрицал этот факт?

— Он не хотел, чтобы об этом знали, — ответил на вопрос Санин.

— Да, но он вначале сам заявил во всеуслышание, что будет идти по следам Фосетта! — воскликнул я.

— Что ж, — сказал Санин, — этого нельзя было скрыть. Но это традиционная цель многих экспедиций на Амазонку, и заявление вряд ли кто-нибудь принял всерьез. И когда Беррон открестился от него, ему поверили! А он, судя по записям, все же думал о Фосетте.

* * *

Где-то в начале фильма были горы и скалы, настоящая горная страна, по словам Беррона. Но чего-то не хватало...

Я думал об этой горной стране и не решался высказать вслух подозрение: с лентой кто-то основательно поработал без ведома участников экспедиции, которые должны были увидеть затерянный город! Возможно, его видел и Фосетт. Что с ним после этого случилось — никто не знает... Даже само описание горной страны в книге Беррона какое-то невнятное, невыразительное, не говоря уже о соответствующих кадрах фильма, — там она лишь промелькнула.

Фильм был смонтирован вопреки замыслу Беррона — вот к какому выводу пришел я. Кто-то не хотел, чтобы мы видели этот город. И даже отснятые там, на его развалинах, кадры исчезли. И кто-то торопливо склеивал фильм из обрывков. И добавлял при этом свое. Так уничтожалась память о прошлом, об индейцах — дальних потомках латиноамериканских кроманьонцев и атлантов.

Диалог при свечах

Да, Беррон искал следы экспедиции Фосетта.

Я встаю, хожу по комнате, потом иду в ванную, растягиваю ворот рубашки, подставляю шею, голову, руки под струю холодной воды. И мысль моя растягивает частицу экранного времени, многократно воспроизводит ее — каждый раз иначе. Напрашивается ответ: ленту монтировал кто-то другой, не Беррон, не его помощники, не монтажер и не режиссер.

А сама экспедиция? Была ли она? Может, это всего лишь гипноз, внушение? Немыслимо! Немыслимо... Само слово означает нечто иссушенное. Но это и есть абсурд,

антиразум! Ему не нужна была экспедиция. Не нужны в джунглях следы человека, который искал следы других людей. Невозможно? Нет, с точки зрения антиразума это как раз возможно, даже очень. Я чувствую истину: кто-то усыпил Беррона и его спутников. На экране... кинодвойники. И литературные двойники — в его книге.

Для антиразума не так важны детали, мелочи, как важны они для нас, людей. Когда-то кроманьонцы выжили благодаря обостренной наблюдательности. Они были настоящими следопытами, подлинными художниками.

Что же нужно людям согласно сценарию антиразума? Побольше убийств, анаконд, зубастых кайманов, человеческих голов, высушенных для коллекций. Чтобы поубавилось мужества у желающих пройти тропами Фосетта, другими дорогами — в неведомое.

* * *

Ко мне заехала Рута, и я рассказал о своих впечатлениях.

Я внес в комнату две зажженных свечи, вышел на кухню, нашел третью свечу в старом ящике под столом — стеариновый огрызок. Когда три огня осветили комнату, достал увеличенное фото мадленской женщины-кроманьонки. Поставил картон на стол между двух свечей, третью отодвинул. Считают, что кроманьонцы не могли изображать лица. Это не так. Лицо женщины было вырезано из кости двадцать тысяч лет назад.

--- Мастеру светил факел, точнее, три факела, — сказал я. — Как сейчас. И он видел лицо живым и смог передать почти неуловимое состояние этой женщины, когда она думает о чем-то своем, быть может, вспоминает волшебные минуты, которые не повторяются. Смотри внимательнее — и ты увидишь в этом лице много больше того, что привыкла видеть. Оно свободно от тревог и забот, одно светлос раздумье и спокойствие озаряют его.

— Она видит нас! — тихо воскликнула Рута.

— Да. Как тогда. Она и тогда видела нас. Мы ее дети, потомки. Мы почти такие же, как она. Только она немного выше ростом, и руки ее умеют больше, чем наши.

— Их было мало, — выдохнула Рута. — Как они выжили? Как смогли?

— Смотри на эти свечи. Бессмысленно оглядывать статуэтки в витрине, они там мертвы. Но как только загораются три огня, дающие глубину пространству, мы ловим этот миг: на нас смотрит живое лицо, живые глаза.

Как бы между прочим я спросил ее, долго ли они добирались до Земли.

— А как ты думаешь?

Она сжала рукой тугой пучок волос, подошла к настенному зеркалу, заколола пучок металлической заколкой.

— А как ты думаешь сам? — повторила она вопрос как будто бы издалека, словно мои слова о перелетах разделили нас невидимой преградой. Может быть, лучше было не спрашивать ее об этом?

— Я думаю, — сказал я, — думаю, что прическа пучком тебе не так идет. Это потому, что ты молода, похожа на студентку и совсем не похожа на инопланетянку. А раз так, полет не должен занимать много времени. Если, допустим, вы стартовали, когда тебе было всего десять лет по нашему земному счету, то сейчас тебе примерно девятнадцать. Девять лет — вот сколько нужно лететь до нас.

— Ты ошибся дважды, — ответила Рута. — Во-первых, мне не девятнадцать, я старше. Во-вторых, девять лет — это было бы очень много даже для нас. Мы не боги, даже не кроманьонцы. И мы не бессмертны.

Она отошла от зеркала, волосы ее снова накрыли плечи, они струились мерцающими антрацитово-темными волнами, и, когда я приблизил руку, одна из этих волн, ближайшая ко мне, оттолкнулась.

— Я расскажу... — Она поправила волосы почти неслучайным движением и быстро улыбнулась одними губами.

Выходило, что я не понимал до сих пор, почему недостижимы очень большие скорости, скажем субсветовые. Я думал, что они опасны для человека. Но не в этом дело! Опасны не скорости, а ускорения. Ведь именно ускорения вызывают перегрузки. Но можно ли достичь скорости без ускорения? Нелепый вопрос! Конечно, нельзя. Значит, перегрузки все же ограничивают возможности полетов? Отнюдь. И разобраться в этом просто: спинка пилотского

кресла получает ускорение и давит на человека, а сам он стремится сохранять состояние покоя — вот в чем трудность. Корабль ускоряется, а пилот получает импульс движения от кресла, причем такой, что это все равно как если бы человек плюхнулся в это кресло с огромной высоты. Но есть выход: нужно, чтобы пилот, а точнее, каждая клетка его тела получила ускорение одновременно с кораблем. Или, строго говоря, все молекулы и атомы внутри корабля должны получать импульс движения одновременно. Тогда не будет никаких перегрузок. Можно ли это сделать? Да. Движение сообщается с помощью поля, которое действует на любую мельчайшую частицу — и на пилота тоже. Движение начинается сразу, строго одновременно, нет ни деформаций, ни перегрузок в общепринятом смысле этого слова.

— Ясно? — спросила Рута, и я кивнул, но у меня был такой вид, наверное, что она добавила: — И все же это сложно, гораздо проще сделать корабль достаточно прочным, а поле применить лишь для ускорения людей в особых отсеках. На твоём языке их можно назвать левитрами. Слово мне так нравится, что с твоего разрешения я буду и впредь именно так называть эти отсеки или кабины.

— Разумеется, у меня нет возражений.

— В каждом левитре помещается два-три человека, иногда один. И кабины эти обычно выступают из корпуса, совсем как глаза глубоководных рыб, о которых ты мне рассказывал.

Она достала из сумки рулончик темной пленки, развернула его, и пленка сразу затвердела, образовав большой квадрат, который она приколола булавкой к стене. Булавка была маленькая, золотистая, с зеленым отливом, как крылья бронзовки на солнце.

— Это тебе! — выдохнула она. — Я давно хотела подарить на память рисунок или картину. Видишь, там звезды, а вот наш корабль. Кажется, он крадется среди созвездий. Но это не так: летит он очень быстро, весь полет от нас до вас занимает не больше трех часов. Потому что корабль с левитрами. Их восемнадцать. Картина называется: «Корабль с восемнадцатью левитрами в созвездии Центавра». Это название ты должен запомнить, не рассказывай об этом случайным людям, ведь ты доверчив, как

кроманьонец, и, как кроманьонец, не защищен от клыков троглодитов, нападающих на тех, кто дремлет или мечтает.

Атлантида погибла летом!..

Я искал для Руты и ее друзей подтверждения необыкновенных способностей кроманьонцев выживать в трудных условиях.

И находил их... в современных данных метеорологии, например. На всей планете тогда и сейчас атмосфера дышит, в ней рождаются и умирают течения и вихри, тепло и холод переносятся на тысячи километров вместе с воздухом. Но перед тем как мы погружаемся в холодное или теплое течение, пришедшее, быть может, с противолежащего континента или полярных островов, возникают едва ощутимые изменения. Никто не знает, почему некоторые люди одарены способностью предсказывать погоду на три дня вперед. Может быть, им помогают ионы?

Организм наш может улавливать первые же признаки борьбы между двумя воздушными течениями: перед сменой фронтов погоды кровь свертывается быстрее; она гораздо скорее рассасывает сгустки, грозящие нашему здоровью, если ожидается наступление холодного фронта. Я нашел описание тех изменений, которые наверняка должны происходить, но которые не всегда известны медикам: особенно чувствительны эндокринные железы, они меняют содержание в крови сахара, кальция, магния, фосфора. Мне осталось сопоставить эти цифры с картами расселения кроманьонцев, с маршрутами их передвижений, с местами временных стоянок.

Когда я сообщил о своей работе Руте, она была изумлена:

— Ты и вправду доказал, что кроманьонцы маги и кудесники. Они улавливали такие изменения в собственном организме, какие нельзя измерить даже чувствительными приборами. Что ты думаешь об ионизации воздуха?

— Думаю, что перед грозой именно положительные ионы дают себя знать. Самочувствие резко ухудшается, страдают не только астматики и больные туберкулезом, но и вполне здоровые люди. Наоборот, после грозы на-

ступает улучшение, и это только оттого, что в воздухе много отрицательных, полезных для нас ионов.

— Но ты приписываешь кроманьонцам способность предсказывать сильные грозы за два дня до того, как они разражались над их головами?..

— Приписываю? Ничуть не бывало. Они и вправду предсказывали их. Может быть, ощущали ионный состав воздуха, а может...

— Что?

— Наверное, они видели будущее. Были ясновидцами, что ли... Ты знаешь мою точку зрения.

— Знаю. Им действительно нужно было видеть будущее, знать его. И если глубоководные рыбы опережали в этом человека, предвосхищая всем своим поведением катастрофы и извержения, то человек тоже... мог.

— Конечно, мог. И может. Один мой знакомый, по крайней мере...

— Кто?

— Санин. Он изучает майя, ацтеков, этрусков.

— И предсказывает будущее?

— Да, если угодно. Только он просил об этом не распространяться. Могу познакомить тебя с ним.

— Мы уже знакомы...

— Вот как?

— Да, но это долгая история. Знакомство произошло на нашей базе в Хосте или даже еще раньше...

— Почему же он молчал?

— А ты?

— Я думал, об этом не стоило распространяться. Контакты меняют будущее.

— Вы с ним единомышленники.

— Да, единомышленники,— подтвердил я.— В Ленинграде нам довелось ознакомиться с образцами тропической многолетней пшеницы. Она обнаружена недавно колумбийскими учеными в равнинных районах страны. У зерен этого злака высокие питательные свойства. Растение выдерживает ливни, сильные ветры, даже бури, его можно скашивать много раз подряд, не заботясь о севе. Никто из индейцев не мог рассказать ученым о происхождении этой культуры. Когда вспоминаешь запущенные, заросшие сады на месте давних пепелищ, невольно ловишь себя на

желании отыскать следы первых атлантов, поселившихся на материке.

— В том городе, который ты видел во сне, тоже была известна эта пшеница. Мы нашли ее близ храма. Там заброшенные поля... ты их, наверное, помнишь...

— Да. Помню город в джунглях и храм.

Я рассказал Руте о записях конкистадоров. Я читал их в переводе Санина. Она о них не знала, никто из них, кроме Каринто, оказывается, не изучал так называемых косвенных источников.

Конкистадоры вспоминали о таинственном городе в Америке, о дворце с колоннами или башнями. К дворцу вела каменная лестница. Два ягуара на золотых цепях охраняли вход. На вершине центрального столба, на восьмиметровой высоте, сияла искусственная луна, молочно-белый шар, свет его был так силен, что рассеивал тьму тропической ночи. Днем же солнце затмевало его сияние.

В одном из своих писем из Бразилии Фосетт писал: «У этого народа есть источники света, неизвестные нам. Они унаследовали их от исчезнувшей цивилизации...» Манданы, белые индейцы Северной Америки, помнят время, когда предки их жили в городах, освещенных негасимыми огнями. И города эти располагались где-то за морем. Как будто бы индейцы помнили об Атлантиде.

* * *

Я рассказал Руте, как представляю себе гибель Атлантиды:

— Из недр земли, разбуженных астероидом, выплеснулась магма, смешалась с океанской водой, поднялось чудовищное облако, закрывшее планету погребальным саваном. После водяного вала, смывшего все и вся на побережье Западной Европы через три часа, на побережье Восточного Средиземноморья через пять-шесть часов после падения «огненного змея», Земля дрогнула, начались извержения вулканов. Даже из-под бушевавшей воды показывали они свои раскаленные жерла. Черные фонтаны устремлялись в стратосферу, распыленная магма, вулканический пепел плотными тучами окутывали моря и залитую водой сушу слой за слоем, опускаясь вниз с ливнями. Небывалой силы грязевые потоки заполнили речные

долины, бушевали грозные сели, губившие все живое. Так погибли мамонты в долине Берелеха и других рек. Тому есть доказательства...

— Мы знаем об астероиде, об извержениях вулканов... Астероид не исчез, он лишь пробил земную кору. Там, в районе Бермудских островов, он до сих пор медленно тает в обтекающих его потоках магмы. Но мы никогда не связывали гибель Атлантиды с гибелью мамонтов. Это ведь косвенные доказательства. Расскажи о мамонтах!

— На Берелехском кладбище погребены сотни мамонтов. Когда-то там росли густые травы и кустарники. Мамонтихи и мамонтята паслись, взрослые самцы поодаль от реки охраняли стадо от хищников. Сель затопил всю долину, сейчас там открыты кости: целые полуострова из костей молодых мамонтов и самок. А в коже их найдены кровавые тельца — признак удушья... Сель нес ветки, деревья, шишки, остатки насекомых и грызунов — все это найдено в том слое. Радиоуглерод показывает 11 800 лет. Такой ответ пришел из Ленинградского университета, куда я послал кусочки ископаемого дерева. Я написал в Дублинский университет, и мне ответили, что возраст ила в озере Нонакрон в Ирландии тот же — 11 800 лет. Нули вместо двух последних цифр объясняются возможной погрешностью метода. Оказывается, время года, даже месяц можно определить точнее, чем год. Атлантида погибла летом, скорее всего, в июле, об этом свидетельствуют остатки насекомых.

— В июле,— задумчиво откликнулась Рута.— Когда паслись мамонты...

Я попросил ее рассказать об антиразуме.

— Антиразум — это иной темп времени, это жизнь, базирующаяся на вакуум,— сказала она.— Отсюда призывы покинуть Землю, разрушить ее с помощью геологических бомб, созданных квази-людьми будущего, ибо она лишь помеха, как помеха — нынешние люди, их прошлое, их культура, память, уводящие в сторону от использования энергии вакуума. Вот вкратце кредо энтропийного разума. Планеты лишь пена в океане вакуума. А главное — скорость! Скорость мысли, скорость передвижения... Антиразуму мешают комки протоплазмы с их титановыми кораблями, мешают сгустки вещества, именуемые звездами и планетами. Что из того что Франс Гальс

или Леонардо да Винчи — гении? Что Ван Гог изобразил на своих полотнах звездное небо с такой точностью, что к ним можно обращаться с большим успехом, чем к астрономическим справочникам? Что поэзия Тютчева свидетельствует о генетической памяти, поскольку передает эмоциональные обороты, обычные для русов — сынов Леонарда шестого тысячелетия до нашей эры? Ничего из этого не следует, а если и следует, то лишь одно — все это должно быть поскорее забыто, как пережитки прошлого, эту пуповину следует перегрызть, чтобы оторваться от Земли, от Солнца и уйти в беспредельность вакуума, затем — сверхвакуума Метагалактики. И если человек Земли еще сильно привязан к земному началу, нужно помочь ему освободиться от него. Для этого хороши все средства, поскольку конечная цель с точки зрения антиразума благородна и возвышенна. Сбить с толку, ввергнуть в безумие, пустить свершения рук человеческих по замкнутой петле времени, уничтожить генетическую память, а затем память обычную, заменив ее на первых порах электронно-цифровой, а затем сделать привилегией особого центра, без права доступа туда...

— Неужели можно думать о таком?! — воскликнул я. — О страшной метаморфозе, которая искоренит все человеческое?

— Это же антиразум! Он надеется на гораздо большее: на то, что все это и многое другое удастся осуществить руками и талантом самого человека.

— Немыслимо!

— А вся Галактика? В ее сердце зияет черная дыра. Там нет инфракрасного излучения, оно всасывается в невидимую воронку, об этом уже пишет Чарлз Таунс из Калифорнийского университета. И если только не удастся, не выйдет — антиразум постарается втянуть всю Галактику в эту воронку, из которой ничто никогда не возвращается! Но управление черными областями — и антиразум знает это — по силам кроманьонскому разуму, по силам человеку.

— По силам... — как эхо откликнулся я и вдруг почувствовал, как что-то сжало сердце. Может быть, это было одно из тех предчувствий, которые посещают меня в преддверии несчастий и горестно-тревожных событий.

С Саниным приключилась странная история, которая могла насторожить кого угодно. Впервые он столкнулся с необъяснимым, с нарушением очевидных законов, к которым привык со студенческой скамьи. Я внимательно слушал его и вспоминал давнюю историю с пурпурным золотом египтян. Кое-какие подробности Санин помог мне восстановить в памяти.

Известный американский ученый Роберт Вуд заинтересовался этой проблемой во время поездки в Египет в начале тридцатых годов. К тому времени, сообщил Санин, золото темно-пурпурного цвета не только не было изучено, но отсутствовала даже гипотеза относительно его происхождения. Оно могло изменить оттенок в результате химических реакций за те три тысячи лет, что пролежало в земле. А может быть, мастера египетских фараонов владели секретами, которые утрачены?

— Вопросов много, ответов не было,— заметил Санин. Его серые глаза казались усталыми.

На старинных украшениях Вуд ясно различал какой-то орнамент — это были розовые и красные блестки и звездочки, похожие иногда на плоские кристаллы. Вуд часами рассматривал тончайшую пурпурную пленку, покрывавшую золотые вещицы, так не похожие на современные изделия ювелиров. На одной из сандалий фараона Тутанхамона он обнаружил правильное чередование желтых пластинок и алых розеток — это создавало красивый и неповторимый узор.

Вуд стал завсегдатаем Каирского музея. И он нашел подобное же украшение на короне царицы из следующей после Тутанхамона династии. Похоже было, что секрет передавался от отца к сыну.

Вуду удалось получить — или попросту выкрасть — кое-что из сокровищ Тутанхамона и произвести анализ крохотных пленок пурпурного золота.

Все это он описал в британском журнале «Археология Египта».

— Самым интересным было сообщение Вуда о микроструктуре украшений,— сказал Санин.— На поверхности он обнаружил таинственные шаровидные выступы. Вуд назвал их бутончиками.

— Что же было дальше?

— Дальше было гораздо хуже. Я попытался повторить опыты Вуда. Собрал простую лабораторную установку. В запаянную кварцевую трубку поместил несколько крупинок золота, сплавленного, как сообщил Вуд, с мышьяком и серой. Часть мышьяка и серы освободилась в виде пара и светилась внутри трубки. Я должен был затем открыть трубку, охладить насыщенное газами золото и обнаружить эти бутончики Вуда... Пойдем, я покажу тебе ее.

Мы прошли с ним на кухню, которая, я думаю, держала множество опытов такого рода, но все еще не взлетела на воздух, быть может, лишь по счастливой случайности. Встав на стул, он нашарил рукой на кухонном шкафу остатки установки и разместил их на столе. Это были тигли, две кварцевые трубки, одна с причудливым зажимом на конце, штатив, система линз.

— Вот в этой трубке я заметил ярко-красное свечение мышьяка и серы, — продолжил рассказ Санин. — Убавил огонь. Стал охлаждать кварц. И замер. Представь себе один-единственный луч заходящего солнца. Тонкий, как игла, пронзительно-красный, горячий. Вот такой именно луч неожиданно вырвался из трубки. Он прошел в пяти сантиметрах от моего лица. Наклонись я за штативом — со мной было бы покончено. Что? Преувеличиваю?.. Ты бы видел, что тогда произошло! Вот здесь остался след.

Он показал мне крохотное отверстие в стене. Оно было идеально ровным. В руке моей оказался кусок проволоки. Проволока вошла на всю длину в отверстие.

— Луч этот прожег стену дома насквозь. Теперь понял?

— Что же осталось в трубке?.. Там же было золото.

— Ничего не осталось. Оно улетучилось. На кварце с внутренней стороны есть черное кольцо, вот взгляни-ка... Это мышьяк. И больше ничего.

— Но не лазер же вдруг заработал у тебя на кухонном столе!

— Нет, не лазер. Потому что энергии лазера такого веса, как моя установка, не хватило бы на подобный фокус.

Передо мной письмо. Я не знаю имени того, кто его написал. Подписи нет...

«Дорогой друг,— начинается письмо,— мы знаем, как тяжелы утраты. Но если будет нужно, мы готовы снова повторить все — от первого шага до последнего. Так бы сделала это Рутте. Так бы это сделал Синно».

Письмо выпало из моих рук. Я сжал голову ладонями. Не знаю, сколько прошло времени. Я встал, вышел на улицу. Была уже ночь, ясная сентябрьская ночь, и звезды медленно плыли совсем рядом. Прошел ровно год с того дня, когда я впервые увидел Руту. Редкие огни машин казались вестниками из другого мира. На нашей улице кое-где еще горел свет в окнах.

Я брел до самого лесопарка, где шумели темные и таинственные сейчас кроны всковых деревьев. У берега озера, напротив острова, я разделся и поплыл, впитывая холод медленных струй, потом лежал на песке, на жухлой истоптанной траве, не ощущая холода, не чувствуя ничего, кроме раны, от которой сжалось сердце...

Я вернулся под утро. Нашел в конверте вырезки из газет на испанском. И, как прежде, светлая строчка перевода бежала по колонкам.

Синно и Рута выехали из Боа-Виста на спортивной машине. С ними были, как я полагаю, кое-какие документы о затерянном в бразильских джунглях городе, хотя Боа-Виста удален от него на значительное расстояние. Главная и самая трудная часть маршрута была позади. К северу от Риу-Бранку есть шоссе. Там это произошло. Некий Копельо, который был задержан три дня спустя, признался в соучастии.

Признания начинались с утверждения, что Синно угрожал безопасности Центральноамериканского региона, и это откровение, своей нелепостью напоминавшее разве что классические примеры промывания мозгов, поддержано было и в редакционной статье, печатавшейся на соседней полосе.

«Мы обсуждали два варианта,— писал Копельо.— Первый предусматривал обычные мероприятия». Обычными они были, конечно, лишь с точки зрения гангстера: преградить дорогу, окружить машину и пустить в ход

оружие, если Синно не пожелает сдаться. «Но предложение сдаться на милость победителя было лишь тактической уловкой,— признавал Копельо.— Нежелательный иностранец подлежал ликвидации».

Сам лексикон этого пропитанного ромом джентльмена удачи не оставлял вроде бы места для сомнений. Однако он не был джентльменом удачи, вот в чем дело. За спиной его стояли грозные силы, и я это знал.

Второй вариант заключался в том, чтобы найти добровольца, который дал бы гарантии. Эти гарантии стоили денег, и немалых. Сколько же предлагал Копельо добровольцу за убийство? Пятьдесят тысяч долларов... Имени этого добровольца он не назвал.

В конце концов оба плана были забракованы. Кем именно — об этом пресса умалчивала. Позже я выяснил, что нити убийства тянулись к целой организации, и там, в ее недрах, они исчезали, как это часто бывает. Она была лишь удобной инстанцией для антиразума.

Что же произошло на шоссе?

В семнадцать часов того самого дня из города выехал «джип» с тремя людьми, одетыми в форме военной полиции. За «джипом» следовал грузовик.

На шоссе, в семнадцати километрах от города, обе машины остановились. Из кабины грузовика вышли двое в штатском платье, на них были темные комбинезоны и американские ботинки на толстой резиновой подошве. Они выкатили на шоссе пустые железные бочки и стали наполнять их камнями.

Один из тех, кто ехал в «джипе», наблюдал. На работу потребовалось пятнадцать минут. На шоссе было устроено нечто вроде пропускного пункта. После этого грузовик повернул в город.

«Джип» отъехал от места засады, возле бочек остались двое. Машина Синно остановилась у бочек с камнями через пять минут после того, как грузовик ушел обратно в город.

— Там женщина! — воскликнул один из переодетых в форму полиции.

В тот же миг «джип» вырвался из укрытия, устроенного из пустых ящиков. Двое — шофер и его напарник, оба в форме сержантов военной полиции, — открыли стрельбу. Еще через минуту все было кончено.

Почему Рута и Синно оказались беззащитными? Для борьбы с антиразумом надо вооружаться!

Синно был убит. Рута тяжело ранена...

Сыны леопарда

Она хотела рассказать мне о статуэтках кроманьонских мадонн... Только Санину удалось растормозить меня, вернуть к давним делам, к предположениям о плавании этрусков в Америку, к статьям — своим и чужим.

Если бы я был художником, написал бы портрет. Но можно ли передать хоть малую часть того, что чувствовал я, когда видел ее, когда думал о ней? Может быть, именно на такой вот случай кроманьонцы высекали из камня своих мадонн, а их потомки еще и записывали их голоса, дополнявшие образ.

В те дни случилось так, что я снова как бы услышал неровную поступь антиразума. Я был у Санина и, сидя в старом кожаном кресле, рассеянно слушал его. Я знал почти все, что он мог сказать, но слушал внимательно: голос успокаивал. Мне легче было забыть с ним тот простой факт, что даже инопланетяне во всеоружии техники оказались бессильны против антиразума. Или, может быть, как раз потому они и оказались бессильны, что техника ослабила иммунитет разума?

Я понимал, что археологи еще не в силах восстановить все ступени, ведущие человека вверх. И Санин пытался проследить этот первоначальный период, который, по нашему убеждению, начинался со времен Атлантиды. Платон писал о войне, которую вели атланты в Средиземноморье. Атланты вознамерились поработить всех, кто населял побережье по эту сторону Гибралтара. Однако они потерпели поражение. Почему? Платон не ответил на этот вопрос. Ясно одно: в Средиземноморье нашлась сила, которая опрокинула атлантов. Это были восточные атланты, кроманьонцы Малой Азии.

— Восточные атланты... — повторил Санин. — Я называл их так. Города их на побережье уничтожены потопом, но позднее вдали от побережья поднялись поселения Чатал-Гююк и Чайеню-Тепези, найденные археологами. Это поселения восьмого — седьмого тысячелетий до нашей

эры! Почти то самое время, о котором пишет Платон. Обрати внимание на любопытную деталь: при раскопках найдено сорок поколений священных леопардов, высеченных из камня. Сорок! Леопард сопровождал восточным атлантам, всей их цивилизации. В четвертом тысячелетии до нашей эры хатты называли леопарда «рас». Это близко к родственному слову «рысь»... И было племя расенов-росенов, которое позднее переселилось на Апеннины, в нынешнюю Италию, и стало известно грекам под именем этрусков. Общий язык древности — это язык восточных атлантов, праязык. В этруском слове «тупи» осталась память о потопе. Слово это означает также кару. Тупи — топь. Таков дословный перевод. Но у этрусков не было мягкого знака, его роль выполняла буква «и», а гласные буквы тогда звучали неотчетливо, часто они вообще пропускались, звук «у» — почти как «о». Топь! Свидетельство потопов!..

Я соглашался с Саниным. Я мечтал о находках таких же древних городов и поселений в Америке, где странствовал Фосетт. Санин умолк, и в эту минуту страх сжал мне сердце. Это был странный, необъяснимый приступ. Должно быть, и Санин испытал нечто похожее. Зерна зрачков его серых глаз расширились. Мы молчали с минуту, вслушиваясь в темноту за окном. Там скользили тени, и если бы они были похожи на силуэты людей, то я нашел бы в себе силы улыбнуться. Но пришло опять это слово — антиразум, — и я точно окаменел. Санин первым пришел в себя. Он ни слова не сказал об этих тенях, и только позже я понял, что он не в первый раз, навсрное, испытывал нечто подобное...

Ночной электропоезд

Утром я выписывал названия рыб, которые обитали близ берегов Атлантиды. Атлантические осетры с оливково-зелеными спинами, серебристые лососи, угри с желтоватыми боками, прозрачные зеленоватые корюшки, круглая масляная рыба с синей спиной, миноги, похожие на змей, скаты. Кроманьонцы били этих рыб острогами, ловили на мелководьях сетями и просто руками, а если надо, ныряли на глубину до восьмидесяти метров.

Позже, вечером, я печатал копии фотоснимков, которые мне прислали. Две давние истории интересовали меня в связи с проблемой антиразума.

В пятьдесят девятом году в пустыне Гоби найден отпечаток ботинка. Возраст песчаника с этим отпечатком — миллионы лет. В Америке, в штате Невада, в слоях, относящихся к триасу, также есть отпечаток подошвы ботинка со следами стежков. Фото документально засвидетельствовало сей факт, но само по себе не помогало ответить на занимавший меня вопрос. Что это? Первая поступь разума на нашей планете?..

В полночь смутное предчувствие встревожило меня, но я не обратил на него внимания. А ведь мог разыскать Санина дома или на улице, в библиотеке или в гостях, где угодно... Мог!

Ночью его нашли на железнодорожной насыпи. Машинист электровоза сообщил на очередной станции, что видел человека, который пытался взобраться на насыпь, но не успел этого сделать. Он упал как будто бы сам по себе, в пяти шагах от электровоза.

...Место мне хорошо знакомо: ветка Рижской железной дороги близ платформы Гражданская. Но что ему понадобилось там глухой октябрьской ночью?..

Умер он от разрыва сердца. Что вдруг случилось? Правда, Санин буквально балансировал в последний год на грани жизни и смерти. Вспомнились опыты с египетским золотом, вспомнились и другие случаи. Я вижу его поздней ночью так ясно, как будто это происходит наяву, а не в моем воображении. Он устал, его преследуют неудачи. Он, в сущности, одинок. Что ему померещилось? Зачем понадобилась ночная прогулка?

Пасмурная октябрьская ночь, всюду слякоть, лужи, мокрые листья липнут к шпалам... Он словно бы испытывал судьбу в поздний час близ насыпи, как я испытывал ее месяц назад.

* * *

Строчки некролога из журнала, где он печатал статьи и очерки об этрусках и латиноамериканских цивилизациях: «Умер В. Санин, писатель-историк, автор книг «Сыны леопарда», «Этруская тетрадь», «Восточная Атлантида».

В последние годы он изучал культуру майя и ацтеков...»

Что я знал о нем?

Трехлетний мальчик с матерью плывет на пароходе к отцу. Пароход минует пролив Лаперуза, и здесь его останавливает японский военный катер. На всю жизнь осталось воспоминание: жаркое солнце над морем, деревянный настил палубы с бухтами канатов, ящиками, бочками. Люди, сидящие на брезенте... Так проходит день, и никто не знает, что будет с кораблем, с людьми.

Потом — раннее детство в стране сопок, распадков, быстрых ручьев и рек. Вот что я прочел в его записной книжке: «В серые дни лета, когда не было солнца, моросило или набегали в долину туманы, я дочитывал книгу, дожидавшуюся меня несколько дней, шел в библиотеку и там проникал в узкие затененные проходы между стеллажами. Меня пускали туда как знакомого, я листал книги стоя, а если попадало что-нибудь интересное, садился на подоконник и глотал страницу за страницей. Это были удивительные часы странствий по джунглям и пустыням, южным морям и островам».

Вот запись на последней странице этой же книжки: «Я и не подозревал, что самое удивительное место на земле — голубая долина, которую я видел каждый день. То была она чашей, в которую сыпались легкие северные дожди, то представляла в желтом и зеленоватом свете солнца, опускающегося за оперенные облаками гребни горных лесов, и казалась лишь миражем, маревом, прибежищем теней, то, наконец, в прямых полуденных лучах обретала плоть и жарко искрилась, сверкая лентой реки, нитями ручьев на крутых склонах сопок».

Позднее — трудная юность, учеба, работа, тысячи прочитанных книг, когда он словно ощупью продвигался к своему настоящему призванию.

У него был характер кроманьонца, иначе он не смог бы сделать и сотой доли того, что успел сделать. Это далекие голубые и синие горы, лишь издали кажущиеся неприступными, подарили ему бродячую натуру и стойкость.

...Все дни его жизни описаны в удивительных книжках с пожелтевшими страницами! И потому он для меня остался живым.

Неделю я провалялся в постели: болезнь сковала меня, и врач лишь успокаивал, но не мог ничего поделать. Я вспоминал древние рецепты кроманьонцев: змеиный яд пользовался у них особым почетом. Атланты применяли его с неподражаемым искусством. Я сосредоточивался, представлял себе, как капли яда просачиваются в меня, изгоняя смертельного врага. Имя же этого врага я боялся произносить даже мысленно: иначе, мне казалось, он останется непобедимым. Мне хотелось одолеть его, чтобы дожидаться новой встречи с теми, кто путешествует в титановых левитрах от одного звездного острова к другому, как на картине «Корабль с восемнадцатью левитрами в созвездии Центавра». Рута!..

По ночам мне снились их корабли, сверкающие следы среди россыпей Млечного Пути таяли и манили, и тогда казалось, что тело мое обретает легкость, подвижность, и я могу сам устремиться ввысь и вдаль подобно тающим лучам, пробегающим по небосводу. Увы, утром все оставалось на местах. Тусклая заря подсвечивала стену дома напротив моего окна. Отдернув занавеску, я всматривался в молочно-серую муть. Мне казалось, что это цвет безысходности. Мечта складывала крылья.

Позже, несколько дней спустя, кроманьонский секрет помог мне, и я снова увидел город, основанный потомками атлантов. Только теперь он высоко возносил колонны и крыши к ясному небу и был залит солнцем. Словно змеиный очищающий яд струился в моих жилах, когда я вспоминал змею на булавке Руты — священную кобру, такую, какая украшала некогда и головной убор Нефертити. Я понял назначение алых лент, струившихся по стройной шее вечной женщины, лепестков мака и васильков на ее груди — символов жизни, которая никогда не прервется, стоит лишь однажды познать ее тайну. Не прервется, если не спит разум, если веришь в него.

ТЕНЬ В КРУГЕ

Фантастическая повесть в письмах

Письмо первое

Небо светлело, и лучи коснулись снегов, разбросав желтые угли по сугробам. И далеко, за лесами и полями, готовился к отлету межзвездный снаряд. Теперь Эрто, пожалуй, не поспел бы к старту. Путь его пролегал теперь в иных измерениях, где гармония космических пустот уступала место ритмам холмов и перелесков, мерной текучести земных ветров...

Я начинаю письмо строчками из рассказа, который Вам очень хорошо знаком. Герои его — зеленые человечки. Верите ли Вы в странных, неуловимых пришельцев? Если да, то не противоречит ли это невыдуманной гармонии космических пустот и подлинным фактам?

Когда-то европейцы высадились на Азорских островах, затерянных посреди Атлантики, на полпути между Европой и Америкой. И что же? На самом западном острове этого необитаемого архипелага они обнаружили древнее каменное изваяние: великан-всадник простирает руку через океан, туда, где находилась Америка. Быть может, эта история в числе других ведет нас в незапамятное время, когда контакты с пришельцами были обычны? Не вспомнить ли, кстати, атлантов и Атлантиду, Шамбалу, Беловодье и Лемурию? *ИРИНА ЛАТЫШЕВА.*

Письмо второе

Уверен, что в бесконечной Вселенной найдутся и обитаемые миры. Об этом говорил еще Джордано Бруно, за что осужден святой инквизицией и сожжен на костре. Зеленые человечки — ироническое имя пришельцев, оно в ходу у скептиков. Не знаю, как вели бы себя последние, окажись они вдруг в прошлом, во времена Бруно. Не исключено, что они помогли бы инквизиторам подкладывать дрова в костер.

Об исторических параллелях. Я знаком, к примеру, с ученым, который доказал, что в Приднепровье во втором тысячелетии до нашей эры говорили примерно на том же языке, что и в Этрурии. Славянские имена богов, оказывается, древнее, чем можно вообразить. Но для меня это отнюдь не свидетельство палеоконтактов. Просто этруски переселились на Апеннинский полуостров после Троянской войны и принесли туда с собой праславянскую культуру Триполья. Нет пока доказательств существования и общей колыбели многих языков и племен — Атлантиды. Бронзоволикие, светлоглазые, почти двухметрового роста атланты, скорее всего, потомки кроманьонцев, расселившихся по всей Европе, а не космических пришельцев. Будут найдены когда-нибудь и предки кроманьонцев, занимающих сейчас несколько обособленное, отграниченное снизу место на верхней ступени эволюции. *АВТОР ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕГО ВАС РАССКАЗА.*

Письмо третье

Благодарю за письмо. Не знаю, вправе ли я говорить с Вами о том, что меня волнует (сомнения эти, бесспорно, могут кому-нибудь показаться не заслуживающими внимания), но позвольте все же узнать: как отнеслись бы Вы к терпящим бедствие на чужой планете? *ИРИНА.*

Письмо четвертое

Если когда-нибудь мне представится возможность помочь терпящим бедствие, я немедленно это сделаю. Но о чем речь? Мы еще не достигли других планет, и вряд ли приходится рассчитывать на это в ближайшее время. (Автоматические корабли и космические станции не в счет.) Кто именно и где попал в беду? *ВЛАДИМИР.*

Письмо пятое

Меня не устраивает Ваш ответ. Разве Вы не догадались, что именно хотела я сказать? Вы же фантаст.

Потому я и обратилась к Вам, что мне трудно найти человека, готового понять меня. И теперь, когда нужно проявить хоть немного смелости, Вы пасуете. Разумеется, попал в сложную ситуацию не земной корабль (призовите на помощь рассуждения о множественности обитаемых миров!). Представьте себе обычную, в общем, ситуацию. Пятеро инопланетян изучали Землю. Трое находились на окололунной орбите вместе с кораблем. Двое спускались на Землю на десантном боте (так, кажется, называются малые исследовательские суда). Были собраны гербарии, коллекции, сняты копии книг и видовых фильмов. Бот приземлялся много раз, но чаще в труднодоступных районах — в горах, пустынях, на безжизненных островах. Разумеется, случалось это и в обитаемых районах, но бот тотчас уходил в отдаленные укрытия, оставив инопланетян. В последнем десанте участвовал всего один инопланетянин — из-за недомогания второго десантника. И вот этот инопланетянин остался один в районе Туле, на западном побережье Гренландии, потому что бот был сбит. Для меня остается загадкой, почему не сработала гравизащита, мгновенно уводящая боевую ракету с курса. По несчастью, бот был принят за разведывательный самолет без опознавательных знаков. *ИРИНА.*

Письмо шестое

Ирина, меня, признаться, весьма озадачило Ваше письмо. Быть может, Вы решили написать фантастический рассказ и в столь необычной форме делитесь со мной замыслом? Как все это понимать? *ВЛАДИМИР.*

Письмо седьмое

Неужели эта простенькая история вызывает у Вас недоумение? Хорошо же. Я высылаю фото десантного бота. Можете обратиться к специалистам: они подтвердят, что снимок подлинный. *ИРИНА.*

Письмо восьмое

Получил фото. Благодарю Вас. Чем я могу быть полезен уцелевшему десантнику? И еще: каким образом у Вас оказалось фото? И вообще, при чем тут Вы? Извините за резкость, но шутка Ваша, если только это шутка, мне все же непонятна. *ВЛАДИМИР.*

Письмо девятое

Вы спрашиваете, при чем тут я? Но потрудились ли Вы показать снимок эксперту? Если нет, прошу это сделать. Собственно, только после этого нужно было бы объяснить Вам, при чем тут я. Но я сделаю это сейчас, несколько опережая события. Десантник, который остался в одиночестве на гренландском побережье — женщина. Еще точнее — это я. *ИРИНА.*

Письмо десятое

Экспертиза, к сожалению, подтвердила подлинность снимка, так что я поставлен перед необходимостью получить от Вас новые доказательства достоверности происшедшего, не говоря уже о Вашем личном участии в этой предполагаемой экспедиции. *ВЛАДИМИР.*

Письмо одиннадцатое

Представляю себе, что получилось бы, если бы я обратилась к человеку менее осведомленному. Это похоже на известную притчу (сборник притч погиб, к сожалению, вместе со многими другими материалами нашей экспедиции). Что делать в моем положении? Вы и представить себе не можете, какие неожиданности подстерегали меня, когда я тайком пробиралась к ближайшему порту, чтобы оказаться, наконец, на борту норвежского траулера. Не буду описывать своих злоключений. В конце концов меня подобрала туристы-лыжники, и началась моя новая жизнь — под чужим именем, естественно. Так я оказалась в Мурманске, потом — в Петрозаводске. Во время своих

странствий я искала человека, который мог бы мне поверить. Выбор пал на Вас. Случайность? Возможно. Я звала Вас на откровенность своим первым письмом. Теперь я убедилась, что диалог утомителен, нелегок. И почему это люди, увлеченные какой-то идеей, часто проходят мимо ее воплощения, даже не узнавая родное детище. Вам нужны новые доказательства? Пусть будет так. Высылаю конверт с гибким листом. На листе или, лучше сказать, в листе смонтированы преобразователь и передатчик для связи с околоракетным кораблем. Там, на дальней орбите, они еще ничего не знают о судьбе очередного десанта. Прошло лишь два месяца по вашему календарю, а программа рассчитана на пять. Вы сами сделаете то, что должна сделать я: дадите им знать о происшедшем. Вы должны достать долгоиграющую пластинку с записью сонаты ми-минор Корелли. Включите проигрыватель, поставьте пластинку и, держа за уголок лист, который я выслала, прочитайте вслух мое третье письмо к Вам, начиная со слов: «Пятеро инопланетян изучали Землю...» Музыка, звуки служат нам для передачи модулированных сообщений в пространстве. Кроме того, музыка не вызывает помех коротковолновикам. Но будьте уверены: самые чувствительные в Солнечной системе приемники настроены на сонату Корелли. Вы тотчас получите ответ, точнее, знак, что передача принята на борту. Тем самым Вы поможете мне: до сих пор я не смогла достать пластинки с записью Корелли. *ИРИНА.*

Письмо двенадцатое

Я сделал все, о чем Вы просили меня. Когда зазвучала соната, я прочитал третье Ваше письмо. Как только я произнес фразу о самолете, гибкий пластиковый лист засветился мягким, как будто солнечным светом, хотя на улице был темный спокойный октябрьский вечер. А настольная лампа вдруг погасла на мгновение. Где-то во мне, в тайниках моего сознания прозвучало: «Спасибо за помощь!» Слова эти сопровождались музыкальной фразой из Корелли. Если это не ответ, то что это? Может быть, Вы объясните?.. Голос был женский, низкий, бархатный. *ВЛАДИМИР.*

Письмо тринадцатое

Имя женщины, которая Вам ответила,— Танати. На корабле нас было двое. Теперь, когда Вы как будто убедились в правдивости моих писем, прошу выслать мне диск с записью, если Вас это не затруднит. *ИРИНА-РЭА.*

Письмо четырнадцатое

Ирина, одна деталь противоречит самому духу событий, о которых Вы рассказываете. Я имею в виду контакт между цивилизациями. По-видимому, он состоялся? Но если так, почему мы с Вами это допустили? Контакт — это музыка разума, это новые дикийинные корабли на стапелях, затем — в сверкающем от звезд пространстве, затем — на новых неведомых землях-планетах. Это событие необыкновенное, ко многому обязывающее обе стороны. Легче всего изобразить встречу братьев по разуму в кино или повести, следуя традициям. Написано об этом немало, но кто поручится, что в книгах отыщется хоть одна правдоподобная ситуация, предвосхищающая события?

Высылаю Вам запись музыки Корелли. Постоянно думаю о том вечере, когда она звучала так обещающе. *ВЛАДИМИР.*

Письмо пятнадцатое

Спасибо за сонату Корелли. Теперь я могу поддерживать связь с кораблем. Утрачены собранные материалы, и я не знаю, как их теперь восстановить.

Вы спрашиваете относительно возможности контактов. Контакты непозволительны, если они охватывают сразу широкий круг людей. Многое тогда изменяется, и нет никакой решительно возможности вернуть события в исходную точку и начать все снова. Представьте, что подобный факт стал всеобщим достоянием. Мгновенно придет в действие механизм, который связан с социальным расслоением во многих странах и с другими известными Вам явлениями. Начнется борьба за контакты, за использование их в своих целях. Это изменит ход развития,

эффект в конечном счете получится отрицательным. Как это ни странно, но контакты — не панацея от бед.

Контакты личные, например наша с Вами переписка, допустимы. Иногда они желательны. Во всяком случае, Ваши письма я жду с нетерпением. Расскажите о себе.
РЭА.

Письмо шестнадцатое

Если Вас интересуют гербарии и коллекции, я мог бы связаться с моим другом, который работает в Томском ботаническом саду. Нетрудно написать в Киев, в Ташкент, что касается Главного ботанического, то это как раз проще всего, ведь я почти коренной москвич. С этого «почти» я начинаю рассказ о себе, в надежде, что и Вы напишете несколько слов, которые будут для меня бесценным подарком (не забывайте о моей профессии).

Я не помню отца, да и не могу его помнить: осталось лишь несколько пожелтевших фотографий, которые моя мать, затем тетка хранили как зеницу ока. Родился я перед самой войной, в дальневосточном городе. Помню снежные метели, сугробы, долгие зимние вечера, а весной — аквамариновую бухту моего детства, где даже в апреле еще плавали льдины, а рядом с ними то тут то там появлялись нерпы, охотившиеся за рыбой. Над бухтой бродили цветные облака — розовые, жемчужные, коричневые, синие. Нигде позже таких облаков я не видел. И с весны до осени особенный смолистый запах доносили ветры с гор, где на каштаново-серебристых под солнцем каменных горбах зеленел кедровый стланик.

Помню трудный месяц, когда мать не хотела мне говорить об отце. Запомнилось ее лицо, я и теперь вижу ее такой, какой она была тогда. Наконец я узнал: отец погиб в боях под Харьковом.

Вскоре я потерял мать. После войны мы перебрались с теткой моей в Москву, к родственникам. Затем — школа на Рабочей улице, новые друзья, голубятни близ Андроникова монастыря, катанье с крутого холма на санях.

Порой вдруг вспоминается широкая лента Амура, горящие дома на его берегу, товарные вагоны нашего поезда,

безнадёжно застрявшие в тупике ввиду боевых действий против Квантунской армии. В августе сорок пятого, когда мы перебирались в Москву, было жарко, солнечно. Много западнее, под Челябинском, дым от заводских труб висел пеленой, маревом, солнце было горячим и красным. Я впервые в жизни держал в руке стакан молока и боялся притронуться к нему губами. А в жарком багряном зареве над городом шар солнца опускался и горел, как уголь в паровозной топке.

Позднее я прочел письмо отца к матери и многое пережил заново. Отец мой сибиряк, участвовал в гражданской войне; окончил рабфак, потом технологический факультет. Мать говорила, что выглядел он всегда молодцом и, когда началась война с Германией, он ушел на фронт добровольцем, несмотря на возраст. Впрочем, мне так и не удалось установить, сколько лет тогда было отцу: два сохранившихся документа — брачное свидетельство и старая курортная книжка — расходятся в этом. По-видимому, ему было уже пятьдесят; первый из документов определенно указывает на этот возраст. *ВЛАДИМИР.*

Письмо семнадцатое

Вы как будто читаете мысли на расстоянии. Это удивительно. Я-то думала, что это удастся только мне. Ваш рассказ так заинтересовал меня, что я хочу услышать продолжение. До этого письма я по какой-то неуловимой ассоциации думала как раз о Вашем отце. Вскрываю конверт — и что же? Как будто по мысленной моей просьбе слова вдруг складываются в строки, по которым удастся проследить судьбу человека.

Сибирь я видела на выпуклом селенировом стекле нашего корабля, зато всю разом. Огромный лесистый край, завораживающий своими просторами и светлыми лентами рек. Маленькая подробность: тайга из космоса кажется чаще всего коричневатой, но вовсе не синей и не зеленой, как об этом пишут. Это нетрудно исправить и в Ваших рассказах. То же, впрочем, относится к тропическим лесам. Только пустыня не меняет своего цвета, и с огромной высоты выглядит она точно так же неприглядно, как и вблизи. Но космические снимки получают

с помощью светофильтров, и цвет в конце концов восстанавливается, что ввело в заблуждение не только Вас. РЭА.

Письмо восемнадцатое

Мне предстоит ответить на Ваш вопрос, и, сев за письмо, я раздумывал, как это лучше сделать. Потом решил: буду рассказывать так, как я рассказывал бы своему другу. Итак, об отце. Зимой двенадцатого года красноармейцы без единого выстрела овладели Красноярском. Белые сдались, армия Колчака по существу была разгромлена. Позже отборный корпус генерала Каппеля, отступая с боями, пройдет по байкальскому льду навстречу японцам, оккупировавшим Забайкалье. Но Тридцатой дивизии, преследовавшей белых, еще предстоят бои с белочехами, операции в долине Селенги, бои близ монгольской границы.

Сохранилось фото: дом в Иркутске, перед ним — группа красноармейцев. Дом украшен плакатами, рядом с домом самодельная трибуна и мастерски сделанная из снега фигура бойца с винтовкой. Мой отец стоит во втором ряду. Мать особенно берегла фотокарточку, и теперь она открывает мой альбом. Именно недалеко от Красноярска начинается боевой путь отца: он вступил добровольцем в Тридцатую дивизию и прошел с ней путь до низовьев Селенги. Второе фото моего альбома запечатлело Гусиноозерский дацан, резиденцию ламы-ахая, главы буддистов в России. Мой отец стоит у трофейного «мерседеса». Рядом красноармейцы. Посадка к ламе была необходима, чтобы получить разрешение ловить рыбу и охотиться. Коренное население этих мест — буряты считали и рыбу и птиц неприкосновенными. Запасы продовольствия в Тридцатой дивизии подходили к концу, и комдив Грязнов отрядил два «фиата», два «мерседеса», взятые у колчаковцев, для дипломатической миссии в Гусиноозерский дацан, где находился трехэтажный дворец ламы. Здание дворца было украшено двумя золотыми оленями с колесом между ними и казалось величественным и грозным. Позже я встречал репродукцию этой фотографии в какой-то книге. Миссия Грязнова принесла успех: лама объявил верующим, что запрет на ловлю рыбы и отстрел дроф не

распространяется на красноармейцев. Думаю, что трофейные машины и кавалькада всадников произвели на ламу впечатление.

Позже отец был ранен на монгольской границе. В то время район этот был опасным: белоказаки то и дело совершали настоящие разбойничьи экспедиции.

Я не знаю, почему буддистам запрещено ловить рыбу и стрелять птиц, но предполагаю, что это как-то связано с их убеждением, что душа человека после смерти переселяется в другое существо. Значит, убить птицу — почти то же, что убить человека. Если у Вас было время познакомиться с жизнью и учением Будды, то Вы не могли не обратить внимание еще на одну деталь: краеугольный камень учения — это отрицание богов. Будда был атеистом, причем самым убежденным, но по прошествии нескольких сот лет он по иронии судьбы сам был провозглашен богом и его учение извращено невежественными последователями. *ВЛАДИМИР.*

Письмо девятнадцатое

Злой рок преследует экспедиции на Вашу планету. Экспедиций было уже три. Первая исчезла бесследно. Мы можем только гадать, что произошло. Вероятней всего, следы ее когда-нибудь отыщутся на дне морском. Но трагедия произошла так давно, что мы редко вспоминаем о ней. Зато второй полет остался у нас в памяти. Мы достоверно знаем, что тогда случилось. Столкновение с метеором из роя кометы Галлея (который несколько опережает саму комету) вывело из строя приборы. Затем последовала неудачная попытка приземлиться в районе невысоких гор, покрытых тайгой. Но расчет, проведенный вручную, дал недостоверные результаты. В атмосфере произошло изменение траектории корабля, которое можно назвать одним словом — рикошет. Удар о плотные слои воздуха был так силен, что обшивка перегрелась. Раскаленное тело, лишенное управления, рыскало над тайгой, все еще пытаясь приземлиться в безлюдном районе. К этому времени в живых остался только один член экипажа. Он принял единственно правильное решение: катапультироваться. Парашют опустил его в районе Подкаменной



Тунгуски. С ним вместе была выброшена рация и автомат записи данных. Думаю, нам повезло: одно сообщение с Земли все же поступило к нам. Затем аппаратура записи и передачи данных отказала, спасшийся член экипажа оказался в тайге, и ему ничего другого не оставалось, как перейти к выполнению последнего варианта. Что такое последний вариант? В нашем понимании это приспособление к местным условиям, использование подручных средств и среды обитания для спасения жизни. И одновременно — сокрытие случившегося. Никто не должен был подозревать о присутствии на Земле инопланетянина. Нужно было стать таким, как все, стать человеком Земли. Это не так уж трудно сделать, ведь мы внешне такие же, как вы.

Почему я пишу Вам об этом? Да потому, что не оставила надежды найти того человека. Ведь он, вероятно, жив. Прошло, правда, более семидесяти лет с тех пор, но был он тогда юн и здоров настолько, насколько это позволял парадокс хода времени в быстро движущихся замкнутых системах. К тому же стареем мы медленно. Да, наша экспедиция предполагала провести поиск, но теперь из-за потери бота это неосуществимо. И только я еще на что-то надеюсь. Вы можете задуматься: почему именно я? И вряд ли найдете правильный ответ. Скажу прямо: этот член экипажа мой отец. Я не помню его, мне не было и года, когда он улетел вместе со второй экспедицией, но у матери остались фото... И я полюбила его. Мать рассказывала о нем, потом я много раз слышала его имя, до сих пор живы его друзья. Прошло двадцать лет, и я стала участницей третьей экспедиции. Наши судьбы в чем-то схожи между собой: Вы потеряли отца и я его потеряла. Теперь Вы лучше поймете меня. РЭА.

Письмо двадцатое

Рэа, из Вашего письма следует, что корабль приземлился незадолго до того, как мимо нашей планеты должна была пройти комета Галлея. Место падения и время соответствуют так называемому тунгусскому диву. Вы об этом, вероятно, знаете. В тайге и сейчас еще сохранились следы. Падение сверкающего шара изменило ландшафт на

сотнях квадратных километров. Напоминаю Вам об этом для того, чтобы уяснить важную деталь. Экспедиция Томского университета исследовала район катастрофы. Предполагалось, что торф, образовавшийся из мха, должен законсервировать атомы космического вещества, принесенного шаром из неведомых далей. Атомы этого вещества должны войти в состав органических молекул мхов. Оказалось, что торф сохранил атомы изотопов водорода и углерода, принесенные неизвестным объектом, и состав этих изотопов соответствует кометному веществу. Значит, это была небольшая комета. Вывод не подлежит сомнению. Вы же пишете о корабле.

Я готов был бы согласиться с Вами, если бы речь шла о комете Аренда-Ролана, появившейся значительно позже, в 1957 году. Как известно, у этой странной кометы вместе с обычным хвостом, направленным от Солнца, появился узкий, как луч, второй хвост, направленный к Солнцу. Само появление этого аномального хвоста не было похоже ни на одно небесное явление, известное до тех пор. Он появился внезапно и внезапно же исчез. Кроме того, комета излучала радиоволны длиной одиннадцать метров, затем было зарегистрировано излучение на волне пятьдесят сантиметров. Это было полной неожиданностью для астрономов. Излучения были очень стабильны, как если бы работали два радиопередатчика. Некоторые ученые предполагают, что комета Аренда-Ролана не что иное, как межзвездный зонд, запущенный инопланетной цивилизацией для изучения Солнечной системы. Обнаружив на Земле разум, зонд послал сигналы, не понятые и не расшифрованные до сих пор. Затем комета Аренда-Ролана прошла мимо нас и удалилась, исчезнув из поля зрения приборов.

Но Вы пишете именно о тунгусском объекте, который был типичной малой кометой. Не могу принять Вашу точку зрения, пока не пойму, что же тогда произошло в тайге. Если можете — объясните. *ВЛАДИМИР.*

Письмо двадцать первое

Вы спешите с окончательными выводами. Сторонники кометной гипотезы опубликовали много статей и книг; Вы, разумеется, их успели изучить. Вероятно, другие пред-

положения, в том числе и гипотезы Ваших коллег, прошли для Вас бесследно. Напомню сначала, о чем там шла речь. Прежде всего о свечении неба. Оно наблюдалось в течение нескольких ночей после катастрофы. Что это за явление? Это, по сути, солнечный свет, отраженный частичками кометного хвоста. Таков должен быть ответ. Но белые ночи, наступившие после взрыва, не похожи на светящийся кометный хвост. Некоторые горные породы, взятые из района эпицентра, при нагревании сильно светятся. Это термолюминесценция. В других местах Сибири она не наблюдается. Напомню Вам и о мутациях. Можно говорить о новом виде муравьев в районе катастрофы, который там сформировался под влиянием неизвестных излучений. Один Ваш коллега писал в свое время о ядерном взрыве. Не разделяю эту точку зрения, и все же Вы должны были внимательнее отнестись к изысканиям в глухой сибирской тайге. Прошу Вас ознакомиться с работами А. В. Золотова, доказавшего, что кварцевые эталоны времени ведут себя более чем странно в районе эпицентра: они отстают на две секунды в сутки, что во много крат превосходит допустимую погрешность. Все это опубликовано. Теперь о том, что не опубликовано ни в одной книге.

Я писала о последнем варианте. Мой отец вынужден был оставить все надежды на спасение корабля. Он знал, что помощь придет не скоро и ему придется остаться на Земле. В то же время он обязан был скрыть факты: даже просто сведения о случившемся означали бы наше вмешательство в дела Земли, в развитие вашей цивилизации. По крайней мере, до поры до времени отец обязан был молчать. И он молчал. Но в тайге остались следы. Лес был повален на огромных пространствах. Отец ничего не мог с этим поделать. В атмосферу были выброшены частицы вещества, вызвавшие белые ночи в Европе и Средней Азии. И с этим отец ничего не мог поделать. У него оставался к моменту катастрофы единственный автономный источник энергии. И он решил замаскировать непосредственные следы катастрофы, которые могут быть обнаружены в последующих экспедициях.

Он попытался это сделать, используя последнюю оставшуюся в его распоряжении энергию. Насколько ему это удалось — судите сами. Во всяком случае, до сего дня кометная гипотеза, вызванная к жизни изотопным соста-

вом торфа, продолжает привлекать внимание. Отец успел рассчитать состав и дисперсию космического вещества, которое должны были обнаружить уже после его смерти.

Давайте будем считать, что каждый из нас может задавать любые вопросы. И если мы еще в силах припомнить через столько лет то, что было и не повторится, давайте это сделаем, не откладывая. Те несколько часов, которые мы отладим прошлому, не пропадут бесследно. Останется горечь, когда мы оба приблизимся к далекому-близкому, коснемся его мысленно и снова окажемся в сегодняшнем дне с его заботами. Останется как бы едва уловимый аромат, потом и он растворится, как запах кедрового стланика в первый день зимы. Странная просьба, не правда ли? Как-то Вы поймете меня? Наверное, Вы похожи на отца. На обратной стороне бумажной обложки первой Вашей книги — портрет, который мне об этом рассказал. Вы удивитесь, может быть: ведь я не знаю, как выглядел Ваш отец. Отвечу на это в следующем письме. Сейчас же у меня к Вам три важных для меня и для Вас вопроса.

Вопрос первый. Можете ли Вы назвать место и год рождения Вашего отца на основании документов о рождении?

Вопрос второй. Жив ли кто-нибудь из друзей детства Вашего отца или из его знакомых того времени?

Вопрос третий. Что Вы знаете о родителях отца? *РЭА.*

Письмо двадцать второе

Ну что ж, я снова пускаюсь в путешествие во времени и пространстве. Прикрываю глаза — и вижу сибирскую деревню Олонцово на берегу Лены. Рубленые дома, деревянный тротуар, запахи смолы и меда, босоногая девочка с лукошком, полным брусники, смотрит на меня удивленными серыми глазами. Почему так удивлена эта босоногая жительница Олонцова с первым урожаем брусники в плетеной корзинке? Не догадались?

Потому что я — чужой. Я городской, в костюме и полуботинках, с портфелем в руке, где сложены рубашки, два полотенца, бритвенный прибор и сетка от комаров. Да, я взял накомарник, и не потому, что наслушался рассказов

о комарах и мошке, а потому, что на Дальнем Востоке в далекие дни детства познакомился с этими микроскопическими хозяевами тайги. Но день ясный, ветреный, к тому же оказалось, что в конце августа здесь нет этой напасти и можно дышать полной грудью.

Как Вы догадываетесь, в тот самый день я искал дом, где родился отец. Я обошел всю деревню из конца в конец. Напрасно. Дома я не нашел. Я переночевал на сеновале у одинокой старушки. Трое сыновей ее погибли на войне. Звали ее Марфа Степановна. Помню лицо ее цвета печеной картошки, изрезанное морщинами, как лик деревянного якутского идола. Утром эта женщина позвала меня на чай, заваренный листьями малины, я достал из портфеля сахар и печенье. Наконец я решился задать ей вопрос. Звучал он примерно так же, как строчки из Вашего письма. Я боялся спрашивать ее об отце. Что-то останавливало меня. Но медлить больше было нельзя: мне пора было уезжать в Москву. (Моя командировка в Иркутск истекла. В Олонцово же я завернул на свой страх и риск.)

И вот я спросил ее об отце и его родителях. Эта удивительная женщина промолчала так, как будто не слышала моих слов. Минула тягостная минута. И она негромко так сказала: «Всех помню» — и вернула мне фото.

«Отца тоже помните? — спросил я, волнуясь. — Помните?»

«Нет», — сказала она коротко, и это «нет» как бы повисло в воздухе.

И больше на эту тему мы не говорили. Нужно ли добавлять, что в сельсовете я не нашел никаких документов об отце?

Так кончилась тогда моя поездка, и я никогда больше не ездил в Олонцово, словно чувствуя неведомый запрет. Точно я добивался того, на что не имел права. Да, именно это я почувствовал и решил, что мне там нечего делать. Трудно, может быть, понять это. *ВЛАДИМИР.*

Письмо двадцать третье

Вы сообщали о книге, в которой есть фото Вашего отца. Я нашла ее. Случилось это так. Любимое место мое в читальном зале было занято, и я прошла к стеллажам,

где пылились энциклопедии и справочники. Тут я увидела молодого человека, вероятно студента, который листал эту книгу. По описанию я узнала дворец ламы. Студент перевернул страницу, но я ее запомнила и запечатлела в памяти. Трехэтажное здание с оленями и колесом между ними, автомобиль, группа всадников на втором плане, красноармеец у «мерседеса». Потом я взяла эту книгу. Села за стол, и что-то мешало мне, я медлила, не могла решиться. Вот и фото... Я снова и снова всматривалась в черты его лица. Сердце сжалось: это был мой отец. Таким я знала его с детства по многим портретам и кинофильмам.

У него внимательные, широко расставленные светлые глаза, в них как будто застыло удивление. Это немного мальчишечье выражение глаз меня особенно привлекало в нем, я узнавала его даже на кадрах, запечатлевших отлет экспедиции, когда лица участников видны сквозь выпуклые селенировые стекла. Смеялся ли он, обнимал ли мать, рассказывал ли он ей о чем-то своем — всегда жило в глазах его это выражение, которое, впрочем, не так легко передать словами. Удивление — да... Но не только. Это был еще и вечный вопрос к окружающему, к себе, к людям. Я говорю «к людям», не делая различий между вами и нами. Он тот же на знакомом Вам фото. Годы, испытания, лишения, горе и утраты не изменили его, он тот же, мой и Ваш отец. У меня было достаточно времени, чтобы проверить это. РЭА.

Письмо двадцать четвертое

Рэа, Вам удалось вернуть меня в прошлое. Но Вы тут же захотели так изменить это прошлое, чтобы я перестал узнавать знакомые до боли его приметы. Судите сами, могу ли я поверить Вам на слово, если даже возможность считать Вас моей сестрой не склоняет меня на сторону Ваших предположений. Предположений. Иначе я не могу это назвать. Как видите, я не спешу объявить себя хотя бы наполовину инопланетянином.

Ваше письмо подействовало на меня так, что я готов был припомнить каждый день и каждый час свой. Снова я на берегу синей бухты, и мы с товарищем босиком идем по серому песку, где отлив оставляет за собой прямо

пахнущие ленты и нити морской травы. Справа ползет тень крутобокой сопки, к зеленому заливку которой клонится предвечернее солнце. Мы забираем влево, где свет и алмазы капель на бурой гриве замшелых камней, где на дне оставшейся лужи видны морские ежи и улепетывающий краб. И следы заполняются водой, когда мы носим камни, складываем их так, чтобы получилась стенка, перегораживающая лужу надвое. И еще стенка, и еще... Потом, оглядываясь на уходящее солнце, вылавливаем из лужи рыбью мелочь, которая ослепла в мутной воде и не может скрыться.

Там, куда Вы меня позвали, я вижу долину, синюю от ягод, с тремя прозрачными протоками. Перепрыгивая через них, я ощупью, не глядя, нахожу голубику. Потом протоки сливаются, я закатываю брюки до колен, выхожу на перекат, но вода сбивает меня с ног, и я вдруг понимаю, что надо быть вместе с течением, плыву, меня выносит к большому камню, где я поднимаюсь. Колени еще дрожат, но страх, первый страх в моей жизни, уже побежден. Река отныне становится моим союзником. Позже, много лет спустя, она будет мне сниться. И густая жимолость у подошвы сопки, и лиственничный лес на пологом склоне, и полосатый веселый бурундук, сидящий у серого пня, расколотого некогда молнией, — все это осталось, все это не придумано. И нет места ничему другому. Что крепче этого может привязать меня к детству, где нет и намеков на тоску по иному миру?

Вы просили документальных доказательств и старались быть точны во всем. Теперь пришла моя очередь просить у Вас подобных же подтверждений. Не задаю вопросов. Очевидно, Вы сами знаете, какие вопросы я мог бы задать.

ВЛАДИМИР.

Письмо двадцать пятое

Бессонная ночь. Только перед рассветом из руки моей выскользнула книга. Я искала там примеры, которые помогли бы нам понять друг друга. Что же это за книга? «Сарторис» Фолкнера. Цитирую.

«По обе стороны этой двери были узкие окна со вставленными в свинцовую оправу разноцветными стеклами —

вместе с привезшей их женщиной они составляли наследство, которая мать Джона Сарториса завещала ему на смертном одре... Это была Вирджиния Дю Пре... она приехала в чем была, привезя с собой лишь плетеную корзину с цветными стеклами».

В эту же ночь я прочла Брэдбери. И тоже о стеклах.

«Ему снилось, что он затворяет наружную дверь — дверь с земляничными и лимонными окошками, с окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды».

И вот уже холодное марсианское небо становится теплым, а высохшие моря зарделись алым пламенем. Давайте и мы понаблюдаем мир через цветные стекла воображения.

Итог этих наблюдений вот каков: автор «Сарториса» заимствовал землянично-лимонное окошко у Брэдбери, фантаста. Да, Рэю Дугласу Брэдбери едва минуло семь лет, когда был опубликован «Сарторис» Фолкнера, и все же это не парадокс. Казалось бы, ответ получен давно: в будущее и прошлое проникнуть не удастся. Машина времени немыслима. Но даже у Вас появились сообщения, что информация может преодолевать временный барьер. Гарольд Путхофф и Рассел Тарг из Станфорда семь лет назад доказали это.

Вас интересуют их опыты?.. Сначала они выясняли природу поля, передающего зрительные образы на большие расстояния. Природу его выяснить не удалось, зато, по счастливой случайности, кому-то из них пришлось в голову принимать и регистрировать зрительную информацию заранее. Слово «заранее» здесь требует пояснения. Один человек, участник опытов, направлялся на машине к аэродрому, порту, зданию необычайной архитектуры или другому объекту. Обычно, когда он в сопровождении ученого оказывался у избранной цели и сосредоточивался, то другой участник, находившийся за много километров в лаборатории, принимал информацию и рисовал на чистом листе бумаги аэродром, порт или здание. Но вот человеку-приемнику дали задание нарисовать объект на час раньше, когда другой участник еще не увидел его. Никому из них не было сообщено о том, что рисунок выполняется заранее. Но рисунок тем не менее удался на славу. Сотни раз повторяли опыт, и результат его убеж-

дал, что информация может поступать из будущего.

Не буду отклоняться от нашей темы и пояснять, как это происходит. Важен факт. Нам он был известен очень давно. Любой из нас, если только пожелает, передаст информацию или зрительные образы в прошлое, в будущее, преодолев время и пространство. Для этого нужна не техника, а подготовка, способности, воля. Зрительные образы осязаемы; человек может обмануться, приняв их за реальность. Иллюзия? Тем не менее иллюзия полная, совершенная. Любопытно, не правда ли?

Теперь вместе с Вами перекинем мостик в прошлое, о котором Вы размышляли в письме (и я благодарна Вам за эти размышления, они позволили мне найти ключ к давним событиям). Начнем с того, что Вы находились тогда за тысячи километров от фронта, где воевал наш отец. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как он хотел увидеть сына. Увидеть, понимаете? И он должен был это сделать! У меня на сей счет сомнений нет. Вспомните эту встречу. Она должна была состояться. Неужели прекрасная память не поможет Вам восстановить подробности, к ней относящиеся? Это могли быть считанные мгновения — припомните их! В трубе детского калейдоскопа видны лишь правильные цветные узоры. Постарайтесь рассмотреть в ней стеклышки, создающие иллюзию. Маленькое отклонение от геометрии, не так ли?.. РЭА.

Письмо двадцать шестое

Пытаюсь взглянуть на окружающее сквозь земляничные стекла воображения. Только там, в первом и наиболее ярко отразившемся в памяти периоде моего детства, аромат земляники нам был неведом. Были сизые ягоды голубики, черные бусины водяники, или шикши, янтари спелой морошки.

Море я и вовсе не хочу рассматривать ни через какое волшебное стекло. Потому что был один памятный туманный день и был огромный пляж, куда мы прибыли на лодке, и странно теплая для этих широт вода, когда можно было бродить босиком по колено в воде. У коричневых обрывов горел костер — живое красное пламя его я вижу до сих пор. Во время отлива я прижимал ногой крабов

к плотному песку и бросал их к костру. Нас было трое. В эту поездку меня взяли с собой мой старший товарищ Гена Ерофеев и его отец.

После ухи и чая я забрался на уступ, бросил несколько ветвей стланика на камни, лег на спину и смотрел на ряднину тумана, спускавшуюся по склону сопки. В моем рассказе я приближаюсь к тому мгновению, о котором Вы просите сообщить. Вот оно, это мгновение: я вдруг чувствую, что поодаль от меня присел на россыпь глинистого сланца человек. Будто бы этот человек в запыленной, вылинявшей от солнца гимнастерке, перепоясанной брезентовым пояском, в кирзовых сапогах и в руке у него пилотка. Я вижу его краем глаза, но понимаю, что могу помешать ему, что ли, и оглядываться не надо. Так прошло с полминуты, а лицо этого человека я не успел рассмотреть. Хотел обернуться к нему, да вдруг услышал: «Как живешь, малыш?»

Я ничего не ответил. Замер. Понял, что вопрос был адресован мне. И снова услышал:

«Не горюй!»

И когда я обернулся, его не было. Пропал он так неожиданно, что я спрашивал себя: правда или показалось? Но четыре эти слова остались во мне навсегда.

А рядом со мной лежало яблоко. Я сразу понял, что это мне. Я надкусил его. Оно было кисло-сладким, хрустящим, вкус его запомнился на всю жизнь. Не мудрено: ведь я впервые видел настоящее яблоко.

Мне кажется, Вы правы: редко пытаемся мы заглянуть внутрь калейдоскопической трубки и часто не замечаем цветных стеклышек, а видим лишь их отражения в зеркале. Эпизод, о котором я рассказал, можно считать доказательством странной гипотезы, которую я услышал от Вас. При обязательном, конечно, условии, что он не был случайностью.

Вернемся ко второму периоду моего детства. Это было уже в Москве, на Школьной улице. Жил я у тетки, на втором этаже кирпичного дома, рядом с Андрониковым монастырем. У развалин монастыря зимой мы катались на санках, склон холма круто опускался к Яузе, и ребятня любила это место. Зимой сорок седьмого в один из ясных дней я собирался туда после школы, но был наказан на уроке пения. За что — не помню. Учитель наш, Сергей

Фомич, так рассердился, что оставил меня в пустой комнате на час. Это было со мной впервые. И вот я сижу в этой комнате, окна ее залиты солнцем, и солнечные зайчики как бы в насмешку надо мной пляшут на полированной крышке рояля. Я смотрю в окно и вижу воробьев, которые устроили возню у матовых, наполненных светом сосулес, свисающих с крыши. С минуту я наблюдаю за ними, потом оборачиваюсь и вижу человека у рояля. Человек этот в сапогах, на нем гимнастерка, подпоясанная брезентовым ремешком, и я узнаю его со спины. А он, не оборачиваясь, говорит: «Ну-ка, споем, малыш, вот эту песню». И несколько аккордов словно вдруг усыпили меня, и я пел точно во сне, и звучала удивительная музыка. То была народная песня, и слова ее неожиданно для себя я вспомнил, хотя раньше знал только мотив.

И когда прозвучал последний аккорд, я услышал:
«Мне пора, малыш. Прощай».

И я встрепенулся. Что это было? Комната была пуста, над окном шумели воробьи, солнце опускалось на крыши дальних домов у Абельмановской заставы, свет его был резким, багровым. Шемящее чувство одиночества было непереносимо. Я уронил голову на подоконник, закрыл глаза, чтобы не расплакаться, и в ушах моих, во всем существе снова прозвучали знакомые аккорды, но я не поднял головы, так как знал, что человека за роялем не было.

Это все, что я могу сообщить Вам о необыкновенных встречах. *ВЛАДИМИР*.

Письмо двадцать седьмое

Весь вечер я пыталась представить бухту, и скалы, и мальчика, который бредет по отмели. Мне казалось, что я отчетливо различаю солдата в поношенной гимнастерке, странным образом попавшего на этот дикий берег, потом словно и впрямь надвигался туман, о котором Вы писали, и видение постепенно исчезало. Я старалась удержать его, но солдат не возвращался, и не было на берегу мальчика, моего брата...

Раньше я не могла и помышлять о встрече с Вами.

Теперь мне хочется попросить разрешения на эту встречу. Думаю, у меня есть право увидеть своего земного брата, и я хочу, чтобы это мое право подтвердили на корабле. Но кто знает, будет ли так, как я хочу...

Достала где-то цветную открытку с видом Андроникова монастыря. Зеленый от травы скат, внизу Яуза, старые стены, святые ворота. Я мысленно вошла в эти ворота, обошла монастырь, прикоснулась к белым камням его храма, потом увидела площадь, улицы, низкое солнце над холмом. Увидела то, что когда-то было близко отцу и Вам. Напишите о себе. РЭА.

Письмо двадцать восьмое

Отец бывал в Москве не часто. Последние годы жил в приморском дальневосточном городе, который стал первым городом моего детства. Но вторым была Москва.

Мне все труднее рассмотреть прошлое в резком, искаженном повседневностью свете. Поздним вечером я шел по своей Школьной улице, где дома с заколоченными окнами сиротливо ожидают своей участи: их скоро снесут. Я заходил во дворы. Над головой шумели высокие тополя и акации. С улицы не видно деревьев, не видно волшебного пространства дворов, наполненных когда-то нашими голосами. Нет уже каменных пристроек у тридцатого дома, и нет деревянного флигеля с пожарной лестницей, куда мы забирались в сорок пятом и позже смотреть салют. Это улица московских ямщиков, единственная в своем роде.

Сиротливо высится кирпичная стена, отделяющая мой двор от соседнего. Над ней когда-то верещали стрижи, я забирался на гребень ее, и солнце слепило глаза так, что я не видел ни двора, ни сарая, ни дома, ни флигеля. Этот резкий свет я помню отчетливо, как будто часть лучей еще и сейчас не угасла, как будто они до сих пор ослепляют и гаснут лишь по мере того, как тускнеет в сознании вся картина.

Наверное, от отца досталась мне ностальгическая патура. Думаю так: чем выше уровень цивилизации, тем больше объем памяти. Я встречал и встречаю людей, которые не испытывают особой тоски ни по прошлому, ни по будущему. Память сдерживает развитие многих ка-

честв, в том числе таких противоположных друг другу, как агрессивность и творческие возможности. От памяти удобней избавиться. Но что такое творчество без памяти?..

Я умею переноситься мысленно в любое место. Бессонной ночью закрываю глаза и начинаю странный полет. Внизу будто бы вижу я горы, море, знакомую реку, тайгу. Я лечу над лесом, пока не засыпаю. В другой раз я вижу деревенскую околицу близ Венева, речку Осетр с крутыми берегами, вечернее поле, балку с темным холодным ручьем. Я лечу над полем так низко, что пугаю перепелок, они вырываются из душистой травы и стремительно исчезают в серо-синей дали. И воспоминания о полетах во сне сами похожи на сны. *ВЛАДИМИР.*

Письмо двадцать девятое

Я говорила с Танатиу и с руководителем экспедиции. Трудно передать подробности этого разговора. Наши были взволнованы тем, что мое предположение подтвердилось и на Земле у меня есть брат. Я намекнула, что мне надо увидеть Вас. Руководитель оборвал меня, спросил резко, знаю ли я самые простые вещи, которые не может не знать участник дальнего полета. «Но это мой брат! — воскликнула я. — Брат!» Он возразил: «Да, но он представитель иной цивилизации, а контактов с другой цивилизацией быть не должно, они изменят будущее, они лишат их самостоятельности, неужели вам это не ясно? Письма можно подделать, фотографии сфабриковать, но если станет фактом контакт, знаете что начнется? Не мне вам это объяснять, Рэа. Но даже если вдруг было бы получено разрешение с нашей планеты, мы должны помнить о Туле в Гренландии. Туле, если хотите, это символ несостоявшегося контакта». Я поняла безнадежность моего положения, но не сдавалась. В конце концов он заявил, что наша встреча возможна в том случае, если Вы станете участником экспедиции и после ее завершения улетите с нами на нашу планету. Прошу Вашего согласия. Ответьте мне. *РЭА.*

Письмо тридцатое

Рэа, во многом я сам виноват. Наверное, я был недостаточно внимателен к Вам и не успел сказать главного, хотя и пытался это сделать. У меня никогда не будет другой земли, кроме этой. К тому же у меня здесь много дел и проектов. По вечерам я думаю о светлых редколесьях, где господствует даурская лиственница, о глухих болотах, заросших багульником, андромедой, водяникой, о голубичных зарослях. О бегущих по распадкам ручьях. Как здорово набрать в котелок воды, развести на камнях костер и, пока варится чай с брусникой, представить, что идешь тропой отца!

Но когда я побываю там, я смогу съездить, наконец, в Вснев, где не был четверть века. Человек изъездил пол-Европы и пол-Азии, а в Венев выбраться не смог. Вам, думаю, это понятно. Так уж я устроен. Воспоминания заменяют мне порой действительность. *ВЛАДИМИР.*

Письмо тридцать первое

Я так и предполагала... и ни на что не надеялась. Мое письмо оказалось ненужным, зряшным. И все же я нашла способ встретиться. Я увижу Вас! И я получила на это разрешение. Ведь я могу появиться так, как умеем это делать мы. Вы увидите меня, я увижу Вас. Может быть, мы успеем сказать друг другу несколько слов. Это будет перед отлетом, через девять дней.

Вы согласны? Еще одно: прошу Вас ни в коем случае не публиковать моих писем к Вам. Разве что с подзаголовком «фантастика». Это обязательное условие нашей кратковременной встречи. *РЭА.*

Запись в дневнике

Необыкновенно стремительный полет над тайгой, в вечернем небе над пеленой облаков яркие, как радуга, полосы — следы заката. Полуявь, полусон, но главное помнится так ясно, что и сейчас вижу глаза ее на фоне распадка с белыми цветами.

Удивительно это: за восемь часов полета я пересек почти половину земных меридианов. Быть может, для того, чтобы оказаться у них на планете, потребовалось бы времени даже меньше. Пусть так, но я не согласен. Я все же не променяю рейс в город моего детства на гиперпространственный и безвозвратный полет в окрестность Магелланова облака или в любую иную окрестность.

Был удивительный день. В долине реки Уптар на россыпях серой гальки цвели заросли кипрея в рост человека. Через полчаса автомобильной езды на взгорье показались знакомые дома, я попросил шофера проехать к бухте по старым улицам, но мы так и не смогли приблизиться к морю. Улочки узкие, с неповторимым обликом: деревянные дома залиты солнцем, за деревянными изгородями — дикие цветы, багульник, ольха.

...Спустился к бухте, разделся, вошел в воду. Начался отлив. Я шел по сверкающим лужам, добрался до большой воды, поплыл. Тело обожгло студеными струями отлива. Нырнул, открыл глаза, рассматривая морских ежей, рыбы стаи, ватаги раков-отшельников. Вынырнул и поплыл к отвесному обрыву, где у подошвы сопки обнажилась полоса светлого песка. Там развел костер и грелся, сидя у огня, пока солнце не упало за гористый мыс. И, возвращаясь в город, я вспоминал ее.

Вот как все произошло.

Примерно через час после отлета из Москвы я задремал. Вдруг во сне зародилась необъяснимая тревога, словно кто-то преследовал меня. Я проснулся. В салоне тускло горели крохотные лампочки. Сосед слева спал, накрывшись газетой, и похрапывал во сне. Тревога улетучилась, я нажал кнопку, стюардесса принесла минеральную воду, я поблагодарил ее и откинулся в кресле. Но спать расхотелось. Вдруг я увидел рядом с моим креслом женщину. Она стояла молча и наблюдала за мной. Я встал. На ней было темно-зеленое платье с отложным воротничком и вышитым цветком, похожим на цветок мальвы. Она быстро проговорила, слегка наклонив голову:

— Я думала, ты выше ростом.

— Нет. Я не великан,— улыбнулся я.— Шатен среднего роста, как многие. А ты удивительно хороша собой,

сестра... несмотря на возраст.— И тут я разглядел цветок на платье, он был, наверное, живым.

— Ну вот я пришла и увидела тебя,— сказала она с едва уловимой интонацией горечи.— Еще минута, и мы прощаемся. Хорошо, что многое мы успели сказать в письмах. Я рада, что встретила тебя.

Она приблизила свое лицо, и в этот момент мне навсегда запомнились ее огромные, серые с синевой глаза, где таились готовые вспыхнуть искры.

— Я увижу скоро дом нашего отца, Рэа.

— Я знаю. Береги себя, брат.

Мы попрощались. Она вдруг задержала мою руку в своей, словно не хотела расставаться. И тихо так сказала:

— Смотри, какие облака...

Я оглянулся, посмотрел в иллюминатор, увидел облака, светившиеся от закатной радуги. Когда я обернулся, ее уже не было.

Подошла стюардесса, спросила:

— Кто эта женщина? Почему она была не на месте?

— Она подходила узнать, когда прилетаем.

— Но ее нет в салоне! И на посадке не было.

— Вы что-нибудь слышали о зеленых человечках? — спросил я, вспомнив вдруг, с чего началась переписка.

— Но это выдумка! — воскликнула стюардесса.

— Конечно, выдумка,— согласился я.— И ваша точка зрения мне понятна. Лично я, правда, иногда думаю иначе. Сейчас, например, когда в иллюминаторе видна вон та неяркая звездочка, на которую можно и не обратить внимание. Кто знает, что за миры откроются нам когда-нибудь! Но только тогда, не раньше, мы с вами увидим снова женщину в зеленом платье с цветком мальвы.

...А воображение мое очертило круг, и в нем оказались моря и океаны — воды их бороздили корабли с тугими звенящими парусами. Круг расширился. По лону земли, по белым пескам, среди тридцати зеленых хребтов шумели семьдесят семь играющих рек.

И девяносто девять рек бежали, сливаясь, по красным пескам, среди медно-желтых гор, у янтарных подошв ста семи утесов.

Солнце всходило над первым и вторым мирами. Над обоими мирами в волшебной-прозрачной выси плыл свер-

кающий воздушный фрегат. Внизу, пересекая ленты ста семидесяти шести рек, накрывая загривки хребтов, бежала его тень.

И возникли слова.

«С тобой мы шли, и ночь была все краше, и свет гнал тьму, и стало людно вдруг. И тень шагнула в человеческий круг, и понял я, что имя ей — Бесстрашие».

ФЕИ СТАРОГО ЗАМКА

*По мотивам
шотландской легенды*

Данвеган

По неровной стене замка размытым облаком бежала тень опускавшегося моста. Хольгер видел, как она погасила вечерние блики на противоположной стороне рва и, накрыв кусты шиповника, упала к ногам.

Замок Данвеган сохранил первозданный облик: проломы, оставшиеся после давних нашествий, тщательно заделаны, вновь скрипят колеса, опускающие подвесной мост, который ведет во внутренний двор. Над входом, как и сотни лет назад, горит факел, его пламя колеблет ветер.

По винтовой лестнице Хольгер поднялся в просторный зал, голые стены которого украшены древними гербами и головами оленей. В углублении посреди зала неровно дышала открытая жаровня, выпуская вверх красноватые языки, и тусклые отсветы, метавшиеся по полу, выхватывали из полусумрака, казалось, не мертвые плиты — годы и десятилетия, сложенные здесь, как в консервной банке. Вокруг бушевали ураганы и войны, лилась вода и кровь — замок прятал в подвалах и башнях следы минувшего.

Хольгер отошел от группы туристов, прибывших вместе с ним из Швеции, и на несколько минут остался наедине с застывшим прошлым. Трудно представить людей, домом



которых были эти стены, коридоры и ступени, сотканые из каменных жил, тяжелые и неподвижные, точно кадры немого фильма или старая незнакомая гравюра.

В южной башне он осмотрел оружие британского и скандинавского происхождения. Меч викингов, похожий на тяжелую железную палку, напомнил о целой эпохе, когда рослые светловолосые воины с выпуклыми глазами прошли на ладьях, словно на морских конях, полмира — от Каспия до Америки, — оставив и здесь, в Шотландии, не только память о себе, но и часть себя.

В верхней каморке с одним-единственным окном заметен был слой пыли и тот же едва уловимый запах старого камня. Комната была пуста, и Хольгер вопросительно взглянул на вошедшего с ним служителя.

— Покрывало фей, сэр. Местная реликвия, — ответил тот на молчаливый вопрос.

Тут только Хольгер заметил в углу на маленьком столе сверток темно-зеленого цвета.

— Могу рассказать, если хотите, историю, связанную с этим покрывалом.

...Много веков назад вождь могущественного клана, владевшего замком, Малколм, взял в жены фею, которую он повстречал на берегу ручья Хантлиберн. В тот день было солнечно, пели птицы, звезды анемон и белые колокольчики тянулись вверх, и лиловый ковер всереска на горных склонах казался продолжением неба.

В прозрачном воздухе раздался легкий звон, и Малколм увидел всадницу на сером коне. По узкой тропинке она медленно приближалась к нему. Странно сиял зеленый шелк ее платья под бархатным плащом, а волосы светились всеми оттенками пламени. Эта встреча решила судьбу обоих.

Счастливы жили они в замке, пока однажды жена не призналась Малколму, что тоскует по своим. В день рождения сына Малколм сам проводил ее на берег ручья, туда, где большие потрескавшиеся от времени камни указывали дорогу в Страну Фей.

Вечером в замке устроили пир — праздновали рождение сына, будущего вождя клана. И Малколм, стараясь превозмочь грусть, веселился вместе со всеми. А в башне спал новорожденный, и молоденькая няня, сидевшая у колыбели, со вздохом прислушивалась к звукам волюнок,

доносившимся из зала. Ей так захотелось побыть там хоть минутку и попробовать угощение, что она решилась: быстро пробежала по извилистым коридорам, залитым лунным светом, и осторожно вошла в большой зал.

Малколм заметил ее и попросил вынести ребенка, чтобы показать его гостям. Девушка поспешила в башню. И ей показалось вдруг, что там не все спокойно. У колыбели, пока она отсутствовала, действительно кое-что произошло.

Крик большой совы разбудил мальчика, он заплакал, и у матери-феи сжалось сердце (ничего удивительного в этом нет: феи способны услышать даже тихо сказанное слово, как бы далеко они ни находились). Фея поспешила к сыну, прикрыла его зеленым покрывалом и, когда тот заснул, исчезла.

Минутой позже няня увидела это тонкое, как весенняя трава, покрывало, вышитое особым узором — крапинками эльфов. Соткано покрывало было так искусно, что ей не долго пришлось гадать, откуда оно появилось. Но девушка не особенно доверяла феям. Ведь многие знали: они могут подменить ребенка. На этот раз, однако, все обошлось благополучно: может быть, фея действительно любила Малколма или чуть-чуть жалела его...

— С тех пор подарок феи хранится в замке Данвеган,— закончил служитель свой рассказ.

Хольгер подошел к столику и притронулся к покрывалу. На нем различались крапинки, соединявшиеся в непонятный рисунок.

— Она появляется здесь,— сказал служитель.

— Кто она? — не понял Хольгер.

— Фея. Однажды я долго искал дома трубку, а потом решил, что оставил ее в башне, и вернулся. Свет зажигается этажом ниже, но я забыл это сделать, а спускаться не хотелось. Светила луна. Ларец с покрывалом оставался в тени. Я пошарил рукой на столе, потом повесил покрывало у окна и поискал в ларце, а когда поднял голову, увидел у окна женщину.

— Я читал о феях, но встречаться с ними не приходилось,— сказал Хольгер серьезно.

— Думаю, они такие же люди, как и мы, только умеют гораздо больше. Я слышал, что настоящая фея совсем недавно жила где-то на севере, кажется, в Инвернесе.

А с феей из нашего замка разве что не удалось еще поговорить.

Хольгеру было двадцать пять, и он готов был поверить.

— Может быть, и мне удастся взглянуть на нее? — спросил он.

— Что ж... Вправду сказать, мой рассказ никто не принимает всерьез. Да и кого удивит в наш век такое? Пожалуй, если в один из ближайших лунных вечеров вы захотите проверить, не забыл ли я закрыть дверь башни, это может обернуться для вас небольшим приключением.

Хольгер опустил руку в карман, но англичанин остановил его.

— Не надо, сэр. Вы поверили мне — этого достаточно.

Маргарет, Мэгги, Мэг

С вертолета Шотландское нагорье похоже на волнующееся море: гребни и вершины кажутся застывшим прибоем. А впадины между волнами — это бесчисленные узкие долины, глены, с гигантскими валунами, оставленными ледником, склонами, поросшими вереском, и голубыми стеклами озер. Даже обычные березы среди этого великолепия выглядят иначе, точно на полотнах старых мастеров. Хольгер летел с единственной целью — увидеть все это, и, когда вертолет опустился, он еще мог, прикрыв глаза, представить Шотландию такой, какой она была в этот солнечный день.

Двухчасовое воздушное путешествие закончилось в городке, похожем на десятки других, и среди домов с аккуратными цветниками под окнами Хольгер в две минуты нашел знакомую вывеску. В бар он вошел вслед за девушкой, оставившей автомобиль на другой стороне улицы, и присел к ее столику.

В девушке ему нравилось все: и короткие каштановые волосы, и глаза, и улыбка, едва заметная, осторожная. «Может быть, просто сегодня такой день?» — подумал он и тут же поймал себя на том, что рассматривает воротник ее платья — даже этот круглый воротничок был до странного красив и строг.

Встреча с ней казалась естественной, предрешенной, и, если бы она не состоялась сегодня, завтра, послезавтра, Хольгер, может быть не отдавая себе отчета, надеялся бы на такой же солнечный день, когда хочется вместе смотреть на луч, упавший через окно в синюю пустоту воздуха.

Ей нравилось, как он говорит по-английски — перелазывая слова, глотая звуки, коверкая фразы. Хольгер сказал что-то по-шведски, и она непостижимым образом поняла смысл. Это развеселило обоих.

Но можно ли смеяться долго, не боясь, что веселье сменится грустью?

Когда-то, друзья, я любил и мечтал
И летнее солнце улыбкой встречал,
Но ранняя осень неожиданно пришла
И с нею холодная мгла.

— Дан Андерссон. — Хольгер сделал нарочито трагический жест. — Когда-то читал...

— Давно? — живо спросила девушка.

— Да, очень. Еще в школе.

— Еще в школе... — с шутливым разочарованием повторила она. — А я думала, вы моложе.

— Мы еще не успели познакомиться...

— Маргарет.

— Хольгер.

...Ее дом стоял у западной дороги недалеко от города. Когда они вышли из машины, он подумал, что вечер будет лунным, и вспомнил о замке *Даввеган*.

Калитка закрылась, шум, доносившийся с шоссе, пропал, смешавшись с тихим перезвоном жесткой высокой травы по краям дорожки, посыпанной круглыми зернами шлака. Чист и ясен был здесь воздух с запахом роши после дождя, и небо над головой казалось другим — прозрачнее, глубже.

Они прошли к дому. Одна из стен была наполовину закрыта оранжевыми, зелеными и голубоватыми листьями, уживавшимися на одних и тех же стеблях. У низкого крыльца стояла большая глиняная ваза с тонким зеленым рисунком по краю, сверху в нее падала струйка воды, падала и вытекала на землю в том месте, где от вазы был отбит кусок с рисунком.

Излом был таким свежим, что Хольгер невольно по-искал глазами осколок. Поднимаясь на крыльцо, он успел заглянуть в вазу, но не увидел дна. Почему-то стало ясно, что на дне осколка тоже нет.

Необъяснимо легко, от одного прикосновения ее пальцев распахнулась дверь — комната показалась продолжением сада. На розовой каменной стене неяркой краской были очень живо набросаны те же листья трех оттенков. В углу стояла такая же ваза, что и в саду. И точно так же не хватало кусочка керамики в верхней ее части, где по всему кругу шел поясок орнамента.

Хольгер подошел к вазе и протянул руку, ловя водяную струю, сбегавшую вниз и не оставлявшую следов.

— Зеркало,— улыбнулась девушка.

И он понял, что это точно было зеркало, отражение в котором почти не отличалось от реальной вазы — так легко возникала иллюзия объема. На ладони как будто бы даже осели невидимые росинки — тоже, конечно, иллюзия.

— Это вы придумали? — спросил он.

— Что тут особенного? В доме должно быть хорошее зеркало, а куда его поместить — сразу видно. Настоящее зеркало должно оставаться невидимым, незаметным.

В комнате были и книжный шкаф, и стол, и телевизор, и легкие кресла, но эти привычные вещи сочетались тем не менее с едва уловимой новизной, необычностью.

Электрический свет не зажегся, не вспыхнул матовыми пятнами — просто засиял воздух вокруг, и оставалось непонятным, как возникло это сияние. Кресло передвинулось, повинаясь пальцам, а комната, казалось, меняла размеры, точно кто-то творил неслышимые заклинания. Изображение не умещалось в тесном квадрате телеэкрана — линии замыкались уже в пространстве, очерчивая как бы некоторый объем.

Книги... Их страницы пахли яблоками, как окна в сад. И рассказывали они о голубых лугах, где плескались волны травы, о жемчужных полях спелого овса, о грибах лесных, дождях, даримых летними грозами,— обо всем таинственном и неповторимо прекрасном. И каждая страница являлась отражением дня, ушедшего в прошлое, одного дня, который как будто забылся, растаял и снова

всплыл в памяти — веткой весенней березы или горной сосны, вписавшейся под тонкий переплет с запахом яблок.

— Вы любите... об этом? — Голос ее был рядом, но Хольгер понял вопрос скорее по движению губ.

— Да. У вас хорошие книги, где только вы раздобыли их?

— Эти книги о хорошем. Но есть и другие. Взгляните. — Она притронулась длинными пальцами к ядовито-зеленой обложке. Книга раскрылась. Возникли правдивые желчные слова.

«Является ли туризм экологическим фактором того же порядка, что и землетрясение, пожар или наводнение? Нет, это явление регулярно, хроническое, а не случайное, как стихийные бедствия, и похоже больше на заболевание. На альпийских перевалах автостоянки теснят луга, на туристских маршрутах в Англии и ФРГ в прошлом году сбиты десятки тысяч зайцев и косуль...»

— Это не о нас, — сказал Хольгер. — У меня нет машины. У вас она есть, но вы не турист. И потом, эти зайцы и косули искупили собой жизнь многих людей, которых сбили бы те же автомобили, пролегай их маршруты в других местах — там, где нет косуль, но зато есть люди.

— Безразличие — вот настоящий убийца. Оно наступает везде и всех, без разбору. Как-то я нашла на дороге зайца с отдавленными лапами. Только через месяц он смог бегать.

— Он живет у вас?

— Нет. Ушел к себе в лес. Иногда заходит в гости по старой памяти. Вам нравится у нас?

— Да. Сегодня я видел Шотландию...

— С вертолета? — спросила она с легкой иронией и сухо добавила: — Сегодня тепло и солнечно, но и в такую погоду с вертолета многое можно не заметить.

Хольгер встретил ее строгий взгляд.

— Вам нужно побывать на Гэльских сборах, — посоветовала она. — Шотландия — земля гэлов, кельтов. Гэлы... Ведь это слово скоро останется только в книгах, в сказках. И вересковые пустоши исчезнут. Будут жить только земля и камни. Что было раньше, давным-давно, когда не было Принсес-стрит и Джордж-сквер, Эдинбург-

ского замка и еще раньше?.. — Она как будто спрашивала о чем-то неясном или думала вслух, без надежды на ответ.

Хольгер вспомнил голубовато-серый ромб озера Лох-Ломонд, широкие волны земли с редкими рощицами, очередь у ночного клуба в Глазго, пляшущую, кричащую, извивающуюся, — длинноволосые юнцы и симпатичные девочки с бутылками виски в сумочках. И еще хмурое утреннее небо над Клайдом, паучьи лапы кранов, суету миллионного города и сутулые спины свободных от работы. Это была Шотландия, и все-таки знал он ее так, как можно узнать по моментальному снимку, не более.

— Гэльские сборы... Это, кажется, фестивали, где поют старые песни и играют в гэльский футбол. Машина времени. Единственный способ увидеть частицу прошлого.

— Не единственный. Но оставим Шотландию. Расскажите, чем вы занимаетесь у себя на родине.

— Я электрик, инженер-электрик. — Было немного жалко, что ответ на ее вопрос звучал так прозаически.

— Это интересно? — спросила она серьезно.

— Не очень, — признался Хольгер, — но если бы пришлось снова выбирать, то лучше трудно было бы что-нибудь придумать.

— Я думаю, что человек дважды открывает истину, — неожиданно сказала она. — Сначала в искусстве, потом в науке, в технике. Можно многое уметь, не зная настоящих причин. Уметь интереснее, чем знать.

Она почему-то вздохнула.

— Вы правы, — сказал Хольгер. — Золотым коробочкам из Ирландского музея две тысячи лет, а следы сварки на них обнаружили недавно. Ирландские кельты были знакомы с холодной сваркой металлов, они умели это делать, объяснение же нашли инженеры двадцатого века.

Она не ответила, и Хольгер смугился. Янтарный свет, мягко очертивший пространство комнаты, отражался в ее глазах, готовых к улыбке снисхождения, улыбке радости, улыбке любви. И понять это было совсем не трудно, но они говорили о книгах, о Клифе Ричардсе, о кино — долго, так долго, что на небе успели смениться десять оттенков синевы, а на востоке и западе проросли звезды.

...Пролетала короткая ночь. Он поймал себя на том, что не знает названия городка. Вертолет подвернулся случайно, а ему было все равно, куда лететь.

— Инвернесс,— сказала она.— Ты прилетел в Инвернесс.

— Инвернесс,— повторил он, словно что-то припоминая.

Потом, уже про себя, он повторил ее имя: Маргарет, Мэгги, Мэг.

Нет ничего правдивее легенд

Что-то совсем простое заставляло Хольгера вернуться в замок Данвеган. Он вспоминал и мягко светящееся глубокое небо, неотделимое от волшебного запаха трав, и летние звезды, большие, как под увеличительным стеклом, и косматую, в облачных гребешках луну, которая то вырывалась на звездный простор, то блекла.

Лучшие дни всегда в прошлом, но в двадцать пять это не заметно. Особенно если пришло время отпуска, а теплый ветер, работавший семь дней, прогнал над Шотландским нагорьем дожди, по морю расстелил белую пену и соединил горы и воду с небом прямыми, как мост, лучами.

Когда гасли голубые колосья трав и спускалась на плечи ночь, дороги становились длиннее, задумчивее. Можно было бродить, бродить, пока не наступит час первой звезды и не вскрикнет утренняя птица-невидимка. Одна из ночных дорог привела Хольгера к замку.

Конечно, история с феей, рассказанная служителем, казалась совершенно неправдоподобной. Но были тогда в его лице и голосе какое-то спокойное равнодушие и усталость, лучше слов говорившие о размышлениях, о неверии и в то же время неспособности перечеркнуть, забыть увиденное, как сон или сказку. Если это и не так, разве не стоило удостовериться в силе чистого вымысла, может быть, самообмана?

...Старый замок притягивал тени, как гигантский магнит. Хольгер пробирался в южную башню. Слились, растворились ориентиры — ров, знакомые выступы стен. За кронами столетних деревьев луна была как высокая и

слабая свечка. Хольгер потерял удобную дорогу, а идти напрямик становилось все труднее. Вдоль стены липкими, цепкими шеренгами вставали кусты шиповника, точно ежи, наколовшие листья на круглые спины.

Нужно было бы лететь, стелиться над землей и, добравшись до стены, перемахнуть через нее, а лучше бы сразу влететь в окно, как бабочка или как фея. Открыв дверь, Хольгер подумал, что легче совершить преступление, чем добраться до южной башни обычным способом. Служитель не обманул: с дверью действительно было все в порядке. И на всякий случай Хольгер прикрыл ее за собой и перестав дышать.

В этот момент мелькнула какая-то неуловимая мысль, сразу переключив его внимание, мозг, и он снова почувствовал упругость мышц, услышал собственные осторожные шаги, уловил ритм сердца.

Лестница вела круто вверх. Было похоже, что звуки глохли, как в лабиринте, рассеиваясь каскадом ступеней. На пороге комнаты он с минуту помедлил, точно собирался проникнуть в тайну, оставаясь невидимым. Потом вошел: комната была пуста. Здесь, на высоте южной башни, луна всплыла над кронами огромной холодной рыбой, и стены комнаты засветились, как днем. От окна к небу выткалась серебристая невесомая тропа.

Хольгер ждал. Но ничего не менялось, и время, лишенное связи с событиями, текло то быстро, то медленно. Хольгер подошел к столику и бережно прикоснулся к легкому свертку. Считается, что феи очень маленького роста, однако покрывало было почти нормальных человеческих размеров. По крайней мере, когда Хольгер расправил его и поднял за углы, ткань, мягко шурша, опустилась до пола.

И тут он уловил едва заметное движение. Мгновением позже он увидел за покрывалом женщину. Руки сами собой застыли в воздухе. Медленно поднимая голову, он чувствовал, как от висков к ладоням бежала быстрая теплая волна. Простые, как цветы и трава, линии ее лица, шеи, рук делали ее похожей, наверное, на всех красивых женщин. Но в следующий момент явилось почти неуловимое отличие, может быть, в широко расставленных глазах или коротко стриженных волосах, светящихся каким-то собственным светом и все же оттеняющих лицо, явилось то,

что заставило потом Хольгера еще и еще раз вспоминать эту встречу.

Легкая грусть была в ее взгляде, и всепонимание, и тень бывшего счастья, тень радости и забот. И может быть, каждый день жизни высветился в ее глазах своей особой, ни с чем не сравнимой искрой. Она была совсем девочкой и пыталась скрыть легкую грусть или разочарование — это Хольгер понял гораздо позднее, когда снова и снова пытался вызвать в памяти мимолетное волшебство.

Прошло, казалось, лишь несколько секунд. Хольгер держал покрывало за углы, застыв, забыв о нелепой своей позе. Опуская полупрозрачную ткань, он заметил, как фея быстро наклонилась, легко взмахнув руками. Всплеснула длинными пальцами и исчезла, растворилась в лунном свете.

Хольгер подошел к столику, спрятал струящийся шелк и, вздрогнув, обернулся, но в комнате было пусто. Лишь в зеркале на стене холодной рыбой забился месяц.

Часы отстукивали четвертый час ночи. Выходило: в замке он провел без малого три часа. Наверное, вот так же герои шотландских сказок — гости фей — не замечали хода времени.

...В отель он вернулся перед рассветом и проснулся так поздно, что можно было сразу идти обедать. Ушедшая ночь всплывала смутным сном. Пока он лениво одевался, отчетливо вспомнился небольшой кружок в углу покрывала — деталь, выпадавшая из общей композиции затейливого рисунка эльфов. Уловить какую-либо общую систему в причудливом узоре, возникавшем из крапинок и тонких черточек, было трудно. А кружок напоминал мишень для стрельбы — концентрические полосы занимали всю площадь: темное «яблочко», потом светлый участок и опять почти черное колечко. По краю колечки были совсем узкие, и он так и не смог сосчитать их.

Хольгер почти уверился, что эти колечки ему знакомы, и теперь, умываясь, мучительно соображал, когда и где видел их раньше. Возникло наконец такое чувство, какое бывает, если ответ уже вертится в голове, точно знакомая фамилия, которая всплывет в памяти, если подскажут первую букву. Он даже перестал водить руками по шее, а просто положил голову так, чтобы на нее падала сильная

холодная струя, и, когда все вокруг словно наполнилось легким свежим туманом, а кожу стало приятно покалывать, закрыл кран. Потом медленно протянул руку за полотенцем. В этот момент возник ответ.

Не так давно он листал книгу по голографии. Полосатый кружок был решеткой Френеля — голограммой одной-единственной точки. Стоит лишь осветить такую решетку — возникает точка, маленький кирпичик объемного изображения. Вот оно что такое, покрывало фей, думал Хольгер, и вдруг отчетливо вспомнилась женщина из замка в коротком плаще. Да, она была совсем живой, только на полу не было заметно ее тени.

Хольгер нарисовал ход лучей в придуманной схеме. Старое зеркало на стене отражало падавший в окно свет луны на голограмму-портрет. Крапинки эльфов — искусно вышитые линии, черточки, точки — как раз и были волновой копией оригинала. При освещении возникало объемное изображение. Фси умели вышивать голограммы, как скатерти или сорочки!

Ему всегда казалось, что легенды не могли быть просто выдумкой. Рыжеволосые кельты — самое изобретательное племя на планете — рассказали на этот раз и вправду о настоящих своих соседях, феях и эльфах, чем-то похожих на них самих.

Пожалуй, никто не ответит на вопрос, приходились ли эльфы кровными родственниками кельтам. Да и кто они были вообще?

Легенды наделяют их странным и неровным характером, способностью видеть и слышать так далеко, что эта способность кажется совершенно неспостижимой. Чувствуется, что те, кто рассказывал о них, не могли понять их вполне. Невозможные неточности и прибавления так исказили всю эту историю, что после записи устных рассказов получилось как бы кривое зеркало, в котором трудно увидеть подлинное лицо.

Хольгер попробовал представить, как это могло быть: тонкие пальцы, серебристые нити, мелькающие, как струны, над легким шелком, и почти неслышимая мелодия. И ему казалось, да, это так и было. Он угадал и значение точки, волновое изображение которой поместилось в углу голограммы. Это была и в самом деле просто точка. Точка после подписи мастера, создавшего портрет.

...Ему пришло в голову разыскать книжку о феях. Пусть это будут старые легенды. Среди них, наверное, найдется и та, что слышал он в замке. Кто знает, может быть, служитель пропустил или, наоборот, прибавил что-нибудь. Во всяком случае, легенда стоит того, чтобы ознакомиться с ней.

В маленьком магазинчике, где и покупателей-то было всего двое — он сам и седой остроносый старичок в пенсне, — нашлось среди прочих бумажных редкостей и расстрепанное, двадцатилетней давности издание сказок о феях.

— Только одна книга из этой серии, — заметила круглолицая высокая девушка в очень коротком платье, напоминавшем сложенные крылья ангела. — Но многим нравится очень современная «Ночь кукол» и «Возвращение Франкенштейна», по мотивам старого фильма, с цветными иллюстрациями. Ну как?

Не дождавшись ответа, она резко повернулась и сделала выразительное движение плечами.

Хольгер листал книгу, но разыскать требуемое оказалось не таким простым делом: названия говорили слишком мало.

— Легенды! — вмешался старичок в пенсне. — Вы любите легенды?

— Я разыскиваю одну историю... О покрывале фей.

— Прекрасно! — Страницы в его руках замелькали с непостижимой быстротой. — Вот! — И он подвинул к Хольгеру раскрытую книгу. — «Знамя фей в Данвегане». Как раз то, что вам нужно.

Старичок собрал со стола газеты, которые до этого сосредоточенно изучал, и дружелюбно заметил на прощанье:

— Нет ничего правдивее легенд, молодой человек.

...Содержание первой части легенды совпадало с тем, что рассказал служитель замка. Во второй части речь шла о том, какую важную роль играло покрывало фей в жизни клана Мак-Лаудов, к которому принадлежал Малколм.

Когда молоденькая няня, повинувшись приказу Малколма, принесла ребенка в зал, где происходило пиршество, послышалось пение фей. В песне содержалось предсказание: покрывало, оказавшееся знаменем фей, спасет клан

в годы бедствий. Однако развертывать его позволялось лишь в тяжелый час, отнюдь не по пустячному поводу. В противном случае на клан обрушатся несчастья: умрет наследник, будет потеряна скалистая гряда — владение замка — и в конце концов в семействе вождя не хватит даже мужчин-гребцов, чтобы переплыть залив Лок-Данвеган.

Знамя фэй бережно хранилось в чугунном ларце. И ни сам Малколм, ни его сын, ни ближайшие их потомки ни разу не прибегали к его помощи.

Только много десятилетий спустя знамя развернули в первый раз. Это случилось, когда Мак-Дональды выступали против Мак-Лаудов. В самой гуще сражения взметнулось вверх зеленое знамя, и Мак-Дональдам почудилось, будто к противнику подошло подкрепление. Они дрогнули и побежали.

Позже знамя спасло от чумы скот Мак-Лаудов. И все снова убедились в его могуществе.

Но вот сто с лишним лет назад некто Бьюкенен, поступивший на службу к одному из Мак-Лаудов, решил отучить людей от суеверия, взломал ларец, извлек знамя и помахал им в воздухе на глазах у собравшихся. И сбылись постепенно все предсказания фэй: прямой наследник рода погиб при взрыве военного корабля «Шарлотта», скалы Три Девы перешли во владение Кембелла из Иснея, а слава клана скоро померкла, и в семье вождя не набралось гребцов, чтобы переплыть морской залив.

Вот что рассказывала легенда о зеленом шелке с изображением феи, может быть, самой королевы фэй, ставшей женой вождя клана. Не все поддавалось объяснению. Возможно, несколько иной, более понятный смысл был вложен в первоначальный, не дошедший до нас текст: те, кто развернул «знамя» без серьезных оснований, несомненно, могли быть только вздорными, неумными людьми и, безусловно, заслуживали лишь неприятностей. «И я развернул знамя», — неожиданно подумал Хольгер.

Хольгер вернулся в отель и зашел в ресторан пообедать. Здесь он увидел Эрика Эрнфаста, с которым вместе летел из Стокгольма. В зале почти никого не было, как всегда в это время. Туристы, остановившиеся в отеле, заходили сюда обычно часом-двумя раньше, большими шумными группами рассаживаясь за столы. Потом зал пустел.

Эрнфаст приветственно взмахнул рукой:

— Где ты пропадал? Садись-ка и расскажи!

Судя по всему, он чувствовал себя здесь как дома. Не дожидаясь ответа, Эрнфаст проглотил полстакана какой-то смеси и заказал еще.

Место и в самом деле было уютное. Большие окна выходили на тихую улицу с серыми, как земля, домами, подстриженными кустами и цветниками. Из пасти мраморного льва у входа в отель озорно торчала охапка веток. В старой витрине напротив красовалась реклама: «Курите папиросы «Кинг».

Хольгер втянулся в разговор. Он казался себе первооткрывателем. Совсем даже неожиданно с легкой и неприятной для себя самой откровенностью Хольгер рассказал Эрнфасту о поездке в Инвернесс, о Мэгги (он так и называл ее в разговоре — Мэгги). Потом с наигранной шутливостью стал говорить о феях, о старом замке, понимая, что другой тон был сейчас неприемлем.

— Не понимаю,— возражал Эрнфаст,— не люблю сказок. Да и зачем тебе фея, если ты с такой девочкой познакомился?

— Здесь есть какая-то связь... какая-то загадка.

— Загадка — это плохо. Загадок не должно быть.

— Не должно,— машинально повторил Хольгер, наблюдая, как Эрнфаст наполняет стакан.

Ему вдруг ясно вспомнилось, как Маргарет набирала кувшином воду из вазы, но только не из той, что стояла на крыльце. Она не выходила из комнаты, лишь приблизилась к зеркалу, в котором отражалась ваза, протянула кувшин — и тот погрузился в воду! Разбежались круги, с кувшина упали прозрачные капли. Он не обратил внимания на это тогда же, потому что все произошло так

естественно, даже незаметно, как будто зеркальное отражение и было настоящей вазой.

Теперь же, пытаясь разубедить себя, Хольгер вновь и вновь переносился в тот вечер, слыша ее легкие шаги до головокружения отчетливо. Но нет, кувшин снова опускался рядом с зеркалом, снова позванивала в ушах и разбивалась на капли падавшая с него струйка, снова Маргарет отводила со щеки каштановые волосы... Колдовство.

Странная, почти нелепая мысль все больше овладевала им. Наверное, сказалась ночь, проведенная в замке. Поэтому что разве иначе пришло бы в голову, что феи могут жить рядом, сейчас, вместе со всеми. Может быть, их совсем мало осталось, но они ведь всегда жили на этой земле.

Уже тысячу лет назад они умели и знали больше, чем нужно было другим. Умение угадывать, совсем особый талант видеть истину, а не ползти к ней вслепую, нащупывая выступы легковесных парадоксов, должны были постепенно отгородить их от остального мира.

Давным-давно ничего не стоило уйти, раствориться в бесконечных просторах зеленевшей земли, но за несколько сот лет исчезли рощи и янтарные пляжи, тяжелые мосты опоясали помутневшие реки. А солнце продолжало светить так же щедро, и жизнь стала иной: тем, кто хотел оградить себя от липкого любопытства, от мелких, но нескончаемых посягательств на все сущее, теперь достаточно было походить на остальных, не выделяться ничем. Но как, наверное, трудно привыкнуть к этому...

— Не стоит грустить.— Голос Эрнфаста прервал его размышления.— Что с тобой, в самом деле?

Хольгер молчал. Непонятное беспокойство, какая-то неизъяснимая тревога все отчетливее переходила в вопрос: «Зачем я сижу здесь? И зачем говорю о невозможном, неповторимом с этим пьяным болваном? Но почему нельзя этого делать? Да потому, что разве не протянутся жадные, досужие руки к тайне, к хрупкой неизвестности — не сейчас, может быть, не сразу,— чтобы разрушить, смять, растерзать, расколоть ее, хотя бы из любопытства, из желания опередить других?»

— Выпьем,— потребовал Эрнфаст.— Не зря же мы прилетели в Шотландию.

— Нет. Хватит.

— Не хочешь выпить со мной... из-за какой-то шотландки.— Тонкие губы Эрнфаста оформились в саркастическую полуулыбку.— Впрочем, теперь, кажется, считается хорошим тоном игнорировать правила хорошего тона.

— Нет.— Хольгер встал.

— А я говорю, выпьем! — Эрнфаст вдруг загремел на весь зал, раскинув на столе руки-щупальца.

— Ты с ума сошел,— тихо, но внятно сказал Хольгер.— Пошли отсюда.

— Нет, останемся. Пока мы не уйдем отсюда, мы останемся здесь, понятно?

Эрнфаст поймал его за руку и покачнулся вместе со стулом. Освободив локоть, Хольгер быстро пошел к выходу, точно ему представилось вдруг, что нужно немедленно, сейчас же догнать нечто ускользавшее от него.

Солнечная дорога

Посадка на вертолет уже закончилась, но он размахивал руками и, задыхаясь, на ходу кричал, чтобы его тоже взяли. Кто-то подал руку, помог подняться. Он сел в кресло и молча наблюдал, как поблескивали солнечные монетки окон в домах фермеров и густел воздух в долинах. Но далеская земля, пробежавшая внизу, была для него лишь призрачным пятном света. Потом возник в сознании неровный ромб озера, наполовину закрытый тенью и вытянувшийся в сторону Инвернесса. В ту же сторону безответными попутчиками неслись облачка дыма.

Когда после медленного падения вертолет повис в воздухе большой багряной стрекозой, Хольгер жадно припал к стеклу, стараясь угадать верную дорогу к ее дому. Там, куда он смотрел, стояло над горизонтом продолговатое облако, и по нему опускалось вниз солнце. «Вот она, западная дорога», — подумал он.

Едва вертолет коснулся асфальта площадки, вернулось чувство земли. Тени стали большими и неуклюжими. Он спускался по ступенькам, и встречный воздух расправлял легкие.

Хольгер зашагал быстро, не оглядываясь, так, как будто сотни раз ходил здесь раньше. Прикрыв глаза, можно было видеть ориентир — солнце, чуть подернутое сухим облачным пеплом. Длинное облако-айсберг подвинулось в сторону, с него все реже и реже слетали багровые лучи.

Далеко впереди показалась знакомая ограда, и он заспешил к ней, расправляя ладонью волосы. Снова увидеть Маргарет — сейчас, через несколько минут... Но что он такое сочинил сегодня? С легкой усмешкой вспомнил он вдруг выдуманную им самим историю. Да, она необычная девушка. Но не более того.

Спору нет, если бы феи жили в наши дни, вышивание голограмм было бы для них старинной бабушкиной забавой. Конечно, они научились бы многому. Сотни лет... И за более короткое время все вокруг меняется до неузнаваемости.

Но кувшин, наполненный водой как бы от одного лишь соприкосновения с зеркалом, следовало объяснить иначе. Просто фокус, или не все успел заметить (что, впрочем, близко по смыслу). Кто знает, может быть, когда-нибудь физики и в самом деле откроют способ передавать со световым лучом воду, воздух, сначала отдельные атомы, ну а позже — до краев наполнять колбы или стаканы с помощью демонстрационного зеркала, установленного где-нибудь в аудитории перед безразличными к научным чудесам студентами? Но это когда-нибудь, да и то в лучшем случае.

В общем-то, логично даже допустить, что феи совсем не исчезли. Но речь ведь шла о Маргарет. Можно ли поверить? Выходит, ей ничего не стоило, например, услышать, как он болтал с Эрнфастом? При воспоминании об Эрнфасте Хольгеру стало стыдно. Разумеется, выдуманное — вздор, непонятно даже, как такое в голову может прийти. Но рассказывать о Маргарет... Ничто не давало ему такого права, похожего на право предавать. Боясь верить себе, вспоминал Хольгер подробности разговора в отеле. Да этот Эрнфаст мог заявиться в Инвернесс с ватагой таких же, как он сам, молодчиков в любой подходящий день...

Вот о чем думал Хольгер, направляясь по залитой закатным светом дороге к знакомому дому.

Трудно было оценить все последствия совершенного, потому и другая мысль, успокаивающая, даже радужная, мажорным аккордом прозвучала в нем. Мысль эта была продолжением невероятного, невозможного, это была мысль-мечта, вызывающая то легкую улыбку, то прилив тепла к вискам и ладоням, она манила поверить во всемогущество желания, когда легкое, но точное прикосновение действует, как невидимый ураган, а взгляд мгновенно проникает в суть, в душу вещей. Разве в нем не может воскреснуть крупица тайны, бывшей когда-то достоянием многих?

Чем ближе он подходил, тем яснее становилось, что там, впереди, в том месте, с которого он глаз не спускал, произошли изменения. Погас самый низкий солнечный луч, точно струна зацепилась за верхушку дерева и лопнула. И тотчас как будто холодок спустился с неба, и возникло тревожное чувство — предвестник беды. Как бы пристально ни всматривался он, взгляд не мог найти ничего знакомого, ничего похожего на ее дом.

Холодной желтой лентой тянулась дорога навстречу закату. Калитка была приоткрыта, дорожка вела к ветхому крыльцу. Два-три запыленных куста торчали из-под ржавых металлических обрезков. Рядом валялись смятые канистры и полуразбитые деревянные ящики. Из-за этих ящиков вышел большой тощий пес и лениво зевнул, показывая влажные клыки.

Хольгер обошел дом дважды, пытаясь разобраться в случившемся... «Я перепутал дорогу... Или она действительно все слышала?» Было тихо, и никто не окликнул его.

Откуда-то выскочил заяц. Казалось, он увидел что-то смертельно опасное, но у него не было сил немедленно умчаться прочь. Хольгер подошел к нему совсем близко, и тогда заяц, заметно прихрамывая, пустился наутек. Хольгер смотрел вслед, пока тот не скрылся из виду. «Ему нужно было прискакать сюда немного раньше... или позже», — подумал он.

Вечерний свет зажег пыльные кусты и черные пустые окна неровными языками закатных огней. Хольгер нагнулся; под ногами лежал какой-то предмет, привлечший

его вниманиис. Это был глиняный черепок, и Хольгер узнал его. На потемневшей керамике еще сохранился зеленый орнамент. Черепок крошился в руках. Казалось, его откололи от вазы очень давно. Может быть, так лишь казалось.

Хольгер собрал с земли крошки и медленно пошел назад. Только раз, взобравшись на холм, он обернулся, словно еще на что-то надеясь. Но все оставалось на своих местах.

МОРЕГ

*По мотивам
шотландской легенды*

Озеро

Вода в этом озере темная даже в солнечные дни, и мне не удалось увидеть дна. Хотел было спуститься по крутому склону к самому берегу, но друг крепко сжал мою руку и так выразительно покачал головой, что я невольно задумался: уж не верит ли он сам в эту историю? Нас ждала машина. Он торопил меня. Я заметил, что поступает он нелогично: сначала рассказывает об озере небылицы, везет меня сюда, не жался бензина, а потом вместо купания мы снова оказываемся на грунтовой заброшенной дороге, и до шоссе — двадцать миль...

— Сказочное место, — сказал я. — Готов поверить легенде. Однако паломников и туристов тут не видно. Чем объяснить этот местный парадокс?

— Знаешь, здесь другие люди. Не могу привыкнуть... Многих из них интересуют совсем иные мифы и легенды.

— Какие же?

— Характерный вопрос. Разумеется, это легенды о счастье, о любви, о бизнесе. Некоторые, правда, испытывают тягу к чудесам, но она какая-то особенная: нужны самые простые, яркие эффекты, понятные, что ли... Нет у них, видимо, времени на размышления.

— Странно, что ты сам проявляешь к этому интереса намного больший, чем англичане.

— Ты прав. Но здесь я встретил все же двоих, кому дано поверить.

— Почему ты против купания в озере? В самом деле боишься, что это правда?

— Не знаю. Я был здесь трижды. Конечно, поверить невозможно. Но близится день, когда она должна вернуться. Так считает Тони Кардью.

— И ты думаешь, Морег вернется?

— Сказка, конечно. Но...

— Она вернется?

— Да. Согласно легенде. Она вернется к людям. И в руке ее ты увидишь букет ослепительно белых цветов. Будешь считать цветы — и насчитаешь ровно десять, с них будет капать вода, ведь они растут на дне озера... И тебя поразит красота Морег. Ясно?

— М-да... В этом что-то есть. Почему же мы не искупались в озере?

— Навязчивая идея.. Вот и шюссе.

— Ты же знаешь, что я коллекционирую моря и озера, в которых купался. Купался я в Красном море, в Японском, в Северном, в Средиземном, не считая внутренних морей и озер. В Армении в апреле плавал в озере, которое называется Глаз мира. Вода там такая, что никакой Севан в сравнение не идет.

— Ладно. Скажу. Видишь ли, моя профессия предполагает известную долю наблюдательности... Так вот, осталось десять дней до сказочного, казалось бы, события. А ты помнишь, что должно произойти сегодня?

— Что же?

— Но я же рассказывал тебе!

— Ах, да, это, кажется, про цветы... Постой-постой, ведь мы могли бы увидеть их! Так?

— Нет, не так. Придется тебе внимательно прочесть известную книжицу. За десять дней до появления Морег в волнах озера покажется один только белый цветок. Там, на дне, она собирает свой букет, и один из цветков выскользнет и всплывет на поверхность.

— Выходит, она собирает букет десять дней? Не много ли?

— Не забывай, что время там течет иначе. Это же сказка.

— Сказка. Но ты говоришь так серьезно, что в голову приходит...

— Прочти легенду! Мы ведь не случайно приехали сюда в этот день. Морег подарит букет свой тому кто был сегодня на озере.

— Ну, знаешь ли... Еще вчера это считалось у нас с тобой простой прогулкой.

— А сегодня эта поездка уже не считается таковой.

— Почему же? Что произошло?

— Да уж произошло... Я видел этот цветок.

— Как это видел?

— Так. Он плыл там... Хотя, может быть, я ошибаюсь. Солнце. Вода темная. И цветок в воде, примерно в пятидесяти метрах от берега.

— И ты промолчал?

— Я бы не удержал тебя... Впрочем, жалко, что уехали так быстро. Но там, у озера, я не придавал этому никакого значения. И только сейчас до меня начал доходить смысл этого эпизода. Только сейчас... поверь.

— Ладно.

* * *

Промелькнул хлопотный день, неуловимый вечер; в полночь, прислушиваясь у себя в номере к затихавшему шуму чужого города, я вспоминал озеро. Это здорово, что сохранились еще такие места, где можно увидеть дикие цветы, травы, облака, опрокинувшиеся в темную воду. Все крупные города чем-то похожи друг на друга в наше время скоростей. После поездки к озеру во мне шла какая-то внутренняя работа, как будто я действительно готов был поверить легенде. Но как можно поверить милой шутке старого школьного друга, который, насколько я помню, всегда был склонен к розыгрышам! Но почему-то хочется нажать кнопку торшера и раскрыть книгу. Необъяснимо.

Он работает в корпункте в Лондоне, я знал это, но надеялся его увидеть после симпозиума орнитологов. Встреча была неожиданной. Он приехал в Глазго на симпозиум тем же поездом, что и я. Мы могли бы встре-

титься, например, на лондонском вокзале. Он был рад этой встрече близ отеля на набережной Клайда. Дело не только в том, что мы когда-то дружили. Он журналист. Значит, он заинтересован в том, чтобы его материалы об орнитологии, эдакой не вполне серьезной науке, были современны и не напоминали бы статьи из энциклопедий, что нередко случается. Из прессы немного почерпнешь: орнитология не пользуется ни популярностью ни даже относительной известностью. Что значат птицы в наш век сверхзвуковых машин?

— Здорово... Ты расскажешь, что же там будет интересного. — Батурин простодушно улыбнулся.

— Ты что же, сам не хочешь разобраться? Это просто: у каждой птицы два крыла — левое и правое, две лапы и голова... Давай я расскажу тебе все подробно за чашкой кофе, идет?

Мы зашли в номер с зелеными шторами и зелеными занавесками на окнах, с зеленым синтетическим ковром на полу, и он вдруг произнес загадочную фразу на английском:

— Это похоже на страну фей.

— Что похоже? — поинтересовался я.

— Все. В стране фей носят одежду цвета травы, ковры и занавески там тоже зеленые. Сказки, конечно, ты им не веришь.

— А ты?

И тогда он неохотно, с паузами, как будто заранее знал, что я не поверю, рассказал историю, связанную с озером и фермерским домом на берегу.

Присматриваясь к нему, вслушиваясь в странно звучащие слова, я сделал открытие: он относился к истории почти всерьез.

Невольно ловил я себя на мысли, что время остановилось в тот момент, когда я видел его в последний раз в Москве. Это оттого, наверное, что у меня хорошая память. Как не бывало полутора десятков лет. И мы как будто продолжали прерванный разговор. Только говорили совсем о другом...

Он, оказывается, почитывает сказки о феях. Гомер открыл археологу-любителю Шлиману путь к Трое. Саги рассказали об открытии Америки викингами. Почему сказки о феях считают до сих пор вымыслом? Непонятно. Они

логичней, чем эпос Гомера, и намного правдоподобней его. Сначала они помогали Батурину освоить тонкости английского. До самой ночи он читал при свете зеленого торшера. Когда засыпал, ему снилось нечто похожее. Феи, одним словом. Утром, улыбаясь, он вспоминал иногда эти сны в мельчайших подробностях. Однажды его точно обожгло. В сказке о Морег он не все понял. Но сон помог — и он неожиданно для себя продолжил сказку. Он уверял, что от этого она стала правдоподобней. Но он ничего не изменил в оригинале, лишь добавил подробности, которых не хватало. Не хватало... Когда он понял это, то сел за письменный стол... Точно так же он записал для себя историю, продолжавшую удивительные встречи туристов с феями в замке Данвеган.

Легенда

Ладно, это даже интересно — прочесть одну-другую сказку на сон грядущий.

Это произошло не так уж давно в районе летних пастбищ, где стояли хижины и дома горцев-фермеров. Доналд Мак-Грегор — так звали одного из них. Морег была его дочерью. В зарослях вереска белело жилище, дверь которого никогда не запиралась. Славная это была хижина, в ней хватало места для очага и двух крохотных комнат. Дом оживал, когда Мак-Грегор и его дочь приводили к озеру своих овец. Внизу, под горой, поднимались густые травы, среди белых теплых камней журчал ручей, впадавший в озеро. Ручей делал петлю, и соседи советовали перенести летник выше: достаточно было бы прорыть второе русло для ручья — и хижина Мак-Грегора оказывалась расположенной как бы на острове. Это важное обстоятельство.

В легендах и преданиях встречаются странности. Объяснить их непросто. Будто бы в озере обитало чудище — водяной конь. Никто не знал его настоящего облика: то он являлся в обличье ворона, то казался издали старухой с клюкой, то огненно-рыжей лисицей, то черным зверем в водах озера. И чудище ни в одном из своих обличий не могло будто бы преодолеть текучую воду, когда выходило на берег поохотиться.

Никто не знал и не знает до сих пор, каково оно, это чудище на самом деле. Говорят, одному из фермеров, предшественнику Мак-Грегора, не повезло. Он увидел водяного коня и умер от сердечного приступа. Он никому не успел даже рассказать о нем и дополнить таким образом предание. Мак-Грегор же улыбался, раскуривал свою трубку, слушал рассказы о водяном коне, но так и не соизволил оградить свой летник струей текущей воды.

— Я поверю в существование чудища не раньше, чем встречусь с ним, — сказал он однажды соседу.

По словам этого соседа, водяной конь огромен и страшен и много людей пропало без вести, став его жертвами.

— Если эти люди пропали без вести, значит, они слишком загостились у друзей. Возвращались домой под хмельком, споткнулись где-нибудь в темноте, ну и свалились в пропасть. — Так отвечал на это рассудительный Мак-Грегор.

Морег прислушивалась к разговорам, которые вел отец, и знала о водяном коне. Долгими летними днями сживала она у порога хижины за прялкой и пела песни белому с черной отметиной ягненку, которого нашла в густой траве. Когда над водой оставался край солнца, девушка спускалась к озеру и собирала овец. С горы она бежала босиком, вприпрыжку. И каждый куст вереска был ей знаком, и каждый камень, и каждый извив быстрого ручья. Но лиловые тени иногда оживали, и она убеждала себя, что нет и не может быть никакого водяного коня и, значит, бояться нечего. Разве можно не верить отцу?

Но почему же тогда дрожь пробегала по телу, когда она видела совсем рядом темные воды озера? О чем-то шелестели листья прибрежных рябин, и она вслушивалась в их шелест, бледнела и, оглядываясь, пятилась назад, ближе к дому. Что за страх овладевал ею? А утром все оказывалось на своих привычных местах: вода была приветливой, тени исчезали, светлые гребешки волн лизали изумрудную траву, и Морег корила себя за выдумки. Постепенно Морег привыкла к тому, как непостижимо странно менялось все в ее мире с приходом сумерек.

В конце концов, это был ее дом, а разве само слово

«дом» совместимо со страхом? «Нет,— думала Морег,— не совместимо, все-то придумали досужие люди, ничего такого нет и быть не может!»

* * *

Дочитав до этого места, я закрыл глаза. Свет в отеле яркий, я включил бра, но и при свете бра строчки начали сливаться, двоиться — быть может, я устал от впечатлений, от дороги. За несколько дней хотелось увидеть слишком много.

Отчетливая, простая мысль: образ девушки правдив. Как это получилось у безымянного автора? Источник, конечно, не внушал доверия, но это ощущение растерянности, боязни, желание уйти поскорее от опасного, внушающего ужас места... Очень похоже на правду. Лежа с закрытыми глазами, я думал об этой истории с Морег так, как будто собирался разобраться в ней. Однако в чем тут, собственно, разбираться? Разве это не сказка?

И я вернулся в страну сказок.

* * *

Молодой человек появился как-то утром у порога хижины. Морег вздрогнула, увидев его тень, подняла голову, оставила прялку. Незнакомец смотрел на нее ласково и вежливо приветствовал девушку; попросил воды, и, пока он пил, Морег присматривалась к нему. Статный, красивый... А волосы! Густые, темные, тяжелые, блестящие. И влажные. От росы, что ли? На лугу ночевал — и промок. И одежда влажная. И Морег спросила:

— Как это ты ухитрился так вымокнуть. Ведь на небе ни облачка!

— Да вот шел я по берегу озера,— не долго думая, отвечал молодой человек,— поскользнулся и упал в воду. Ничего, скоро обсохну. День-то какой погожий!

Он присел рядом с Морег, стал рассказывать ей веселые-преселые истории. Она слушала и удивлялась себе: что-то в ней происходило такое, что мешало ему верить, не хотела она больше слушать его, а что-то принуждало ее к этому. Она была настороже. Вот он пригладил рукой волосы. Зеленая нитка соскользнула с

них и упала у ее ног. Такая трава росла на дне озера. Морег вздрогнула. Еще одна травинка упала с его волос. Ее отец иногда ловил рыбу сетью — и девушка знала, что это за трава, и знала, что встречается она только на самых глубоких местах и опутывает снасть так, что трудно совладать с ней.

Юноша спросил, почему она вздрогнула.

— Трава...— ответила Морег.— В твоих волосах... трава.

— Но я же сказал, что упал в воду!

— Да, конечно,— ответила Морег и попыталась улыбнуться — Наверное, я такая пугливая, всего боюсь.

— Чего же ты боишься сейчас? — В глазах юноши промелькнула странная тень, словно прикрывшая на мгновение его мысли.

Тут вдруг Морег припомнила, что рассказывал один из фермеров. В глазах водяного коня всегда как бы отражались темные волны. Море ли то было, озеро ли — никто не знал. И она увидела в глазах юноши это отражение темной безрадостной воды. Цепenea от ужаса, она все же нашла в себе силы подняться и побежать прочь от дома, от незваного гостя.

Сердце ее колотилось так, что заглушило остальные звуки, но она знала, что он бежит за ней, и боялась оглянуться! Да, это была погоня. Она выбивалась из сил и слышала уже тяжелый топот за спиной.

...У легенды было два конца. Один — счастливый — в тексте. Морег якобы успела перепрыгнуть ручей, и водяной конь остался на другом берегу, потому что текучая вода была для него непреодолима. Но в той же книге, в примечании, я нашел совсем иную концовку, которая, быть может, не нравилась читателям. Согласно этой второй версии, Морег не успела перепрыгнуть через ручей. Она стала пленницей водяного коня. Подобно русалке жила она с тех пор на дне озера и должна была вернуться домой лишь через много лет с букетом белых цветов. Их десять, этих ослепительных цветков, по числу лет, проведенных в неволе. И один цветок, как я знал, появлялся неожиданно на озерных волнах, когда Морег собирала свой букет в подводном саду.

Важная подробность: для девушки это было лишь сном или мимолетным видением. Время почти не коснулось ее.

Она должна выйти из озера и как ни в чем не бывало направиться к своему дому. Только этого дома уже не было. Мак-Грегор вскоре умер. Место было предано забвению. От летней его хижины осталось лишь несколько белых камней в зарослях папоротника.

Батурии показывал мне эти камни.

Я запомнил их расположение: три больших камня образовали вершины треугольника, четыре камня поменьше лежали внутри этого треугольника. И ничто больше на этом заброшенном месте не напоминало о жилище Мак-Грегора.

Действительно ли здесь был летник Мак-Грегора? Действительно ли у него была дочь? На эти вопросы Батурин отвечал утвердительно.

Зеленые человечки?..

Я, конечно, не специалист. Мне трудно судить, возможно ли это. И если возможно, то как это достигается. И все же я читал чуть ли не об обратном ходе времени. Есть такие частицы, которые путешествуют из будущего в прошлое. Но если пишут о частицах, то, значит, в принципе это возможно. А если просто замедлить ход времени? Это же проще, чем повернуть его вспять?

Зачем это? Кому такое понадобилось? Водяной конь — сказка. Хорошо бы угадать реальные силы, которые дали повод сочинить сказку. Феи? Тоже сказка. Что же остается? Года два назад я читал о Франке Фонтэне, молодом французе, с которым произошло нечто похожее.

Специалисты из группы изучения аэрокосмических явлений оказались в затруднении, выслушав рассказ девятнадцатилетнего юноши.

Однажды утром Франк и двое его друзей собрались на рынок. Недалеко от их машины в небе появилось пятно яркого света. Оно стало спускаться на землю, оставляя за собой светящийся наклонный след. Франк, приняв это пятно за падающий самолет, немедленно сел за руль, оставив друзей у дома. Внезапно его автомобиль был как бы накрыт ярко светящимся туманным шаром, а над машиной плавали в воздухе четыре маленьких шарика.

Друзья увидели, как искрящийся туман вытянулся в трубу и поднялся в небо. Машина осталась на месте, но Франк в ней не было.

Юноша появился ровно через неделю в полной уверенности, что его друзья все еще собираются ехать на рынок. Он думал, что просто задремал в машине. О его появлении есть запись в протоколе полиции.

Постепенно к Франку вернулась память. Он вспомнил, что светящийся туман проник в его автомобиль, затем он очнулся в зале, где было множество сверкающих машин и приборов, и там перемещались светящиеся шарики размером с апельсин. Франк слышал голоса.

Что это за пространство?

Мне хорошо известно, что ответа нет. Французские ученые признали это «невероятной правдой».

Именно необыкновенное поведение времени под водой, в чертогах коня, показалось мне знакомым и вовсе не странным. Я перебирал в памяти подобные случаи, и на ум приходили аналогии. Но сначала о том, что я нашел в сборнике шотландских легенд. Есть там рассказ о феях Мерлиновой скалы. Мерлин — известный волшебник, с ним хорошо знаком был король Артур, боровшийся с нашествием саксов. По имени волшебника и названа эта скала.

Двести лет назад, говорится в этом коротком рассказе, жил-был бедный человек, работавший батраком на ферме в Ланеркшире. Хозяин фермы послал его как-то копать торф. В центре торфяника и высилась Мерлинова скала. Батрак складывал торф в кучу. Вдруг он вздрогнул — перед ним стояла крошечная женщина, ростом в два фута, не больше. На ней было зеленое платье, красные чулки, длинные ее золотистые волосы ниспадали на плечи двумя волнами. Была она стройная, ладная, и батрак застыл на месте от изумления, выронив из рук заступ. Женщина подняла вверх палец и сказала:

— Что бы ты сказал, если бы я послала своего мужа снять кровлю с твоего дома, а? Вы, люди, воображаете, что вам все дозволено! — С этими словами она топнула ножкой и приказала: — Сейчас же верни торф на место, а не то после будешь каяться!

Бедняк понял, что перед ним фея, и стал выполнять ее приказ. С феями шутки плохи! Вот уже торф уложен

на свое место, кусок за куском. Он огляделся, хотел еще раз увидеть женщину, но ее и след простыл. Подняв на плечо заступ, бедняк вернулся на ферму и рассказал хозяину о случившемся. Хозяин расхохотался. Он не верил ни в фей, ни в эльфов. Он приказал батраку тотчас запрячь лошадь и вернуться на торфяник за выкопанным торфом. Делать нечего — пришлось бедняку ехать к Мерлиновой скале. Может, хозяин прав и ему лишь привиделась эта женщина?

И все же предчувствовал батрак недоброе, да делать нечего: пришлось возвращаться на старое место. Прошла неделя, прошел месяц, но ничего дурного не случилось с ним, и вот уж позади и зима, и весна, и лето. И человек забыл через год случившееся. Но ему напомнили об этом.

С кувшином молока шел батрак с фермы домой. Он задумался и увидел вдруг невдалеке Мерлинову скалу. Как он умудрился попасть сюда?.. Он присел на траву отдохнуть и заснул глубоким, тяжелым сном.

Проснулся в полночь. Сентябрьская луна светила ярко, и в ясном холодном свете мелькали маленькие человечки... феи. Они затеяли хоровод, они указывали на человека крохотными пальцами, грозили ему кулачками и все кружили и кружили вокруг Мерлиновой скалы.

Человек попытался выйти из заколдованного круга. Но не тут-то было! Куда бы он ни шел, перед ним точно смыкались невидимые створки, а феи хохотали пуще прежнего, когда он натыкался на невидимую преграду и останавливался в растерянности. И вот к нему подвели нарядную хорошенькую фею и сказали:

— Попляши-ка с нами, человек! Попляши, и тебе уже никогда не захочется покинуть нас! А это твоя пара!

Батрак не умел плясать. Но фея взяла его за руку, и мгновенное колдовство изменило настроение человека, с изумлением почувствовал он неуюмную потребность веселиться. Забыл он и дом, и семью, и было так хорошо, что он и не помышлял ни о чем, кроме танцев с феями.

Прошла ночь. С первым утренним лучом веселье прекратилось. Все устремились к Мерлиновой скале, где вдруг приоткрылась дверь, раньше остававшаяся невидимой. Батрак оказался в просторном зале. Тускло светили тонкие свечи. Феи улеглись спать в ниши, где, укрытые зелеными

пологами, их ждали крохотные, быть может, волшебные лежа. Бедняк сидел в кресле, которое ему с готовностью пододвинули, и хотел было вздремнуть. Но феи пробудились, стали готовиться к трапезе, хлопотать по хозяйству. Так прошел день, и кто-то взял батрака за руку. Он обернулся. Перед ним была та самая фея, которую он видел, когда копал торф. Зеленое платье, зеленый пояс, туфли цвета весенней травы... Он сразу узнал ее.

— В прошлом году ты снял торф с крыши моего дома,— сказала она,— но теперь снова вырос торфяной настил и покрылся травой. Поэтому можешь вернуться домой. Ты уже наказан. Но не рассказывай о том, что видел у нас, ведь мы занимались не только делами по хозяйству, не так ли?

Батрак кивнул. Зеленые человечки действительно занимались разными непонятными делами, и он все время ломал над этим голову, но не смог ничего толком понять и объяснить.

— Клянешься? — спросила фея.

Человек дал клятву, что будет молчать. Дверь в тот же миг открылась, и он увидел Мерлинову скалу. Рядом с ней стоял кувшин с молоком. Тот самый кувшин, который он нес домой вчера вечером. Бедный батрак подошел к дому с этим кувшином. Постучал. Дверь открыл седой мужчина. За ним вышла сгорбленная старушка. Батрак подумал, что ошибся,— чего не бывает! Огляделся. Это был его дом. Тогда он хотел поздороваться — и слова застыли в его горле. Он вдруг узнал... понял... догадался. Ведь эта старушка — его жена, а седой мужчина — его сын.

Старушка сразу узнала его, но так же, как и он сам, не могла вымолвить ни слова. А сын молча смотрел на него и долго не верил потом, что это вернулся его отец.

Таким было возвращение из страны зеленых человечков.

День девятый

Теплый погожий день. Прогулка. И вот я в знакомом уже зале, где кресла предупредительно оборудованы микрофонами. Перевод пока не требуется — я хорошо пони-

маю английских коллег. Сегодня их день. Обвожу взглядом ряд за рядом — Батуриной пожаловать не соизволил. Вечером — неизбежная встреча у него в номере. Рассказываю ему о птицах. Слушает, что-то записывает в блокнот. Спрашивает о скопе — есть такая птица. Каждое перо у нее обведено яркой белой линией, на ногах белые перья, нарядный хохолок на голове, светлая грудь. Общий фон оперения — коричневый. Уже в 1916 году в Шотландии не осталось ни одной скопы. Но в пятьдесят четвертом туда доставили пару птиц, и потомство их расселяется по нагорью. Сегодня на симпозиуме об этом рассказывал Рой Деннис, мой коллега орнитолог. Он же указывал на карте места гнездовий других интересных птиц: кулика-сороки, шотландского тетерева, сипухи. Чтобы пересчитать гнездовья редких пичуг, теперь надо пользоваться картой Шотландии, не иначе.

Я рассказал еще, что на Дальнем Востоке, в Приморье, мне доводилось находить гнезда скопы. Они почти всегда располагались на старых, полузасохших деревьях-великанах: удивительное постоянство вкуса проявляют эти птицы всюду, где их можно встретить.

— Завтра едем на озеро.

— Я помню.

Завтра — день экскурсий. Моя с Батуриным экскурсия самая дальняя. Там, у озера, можно увидеть скопу. Вторая причина моего согласия поехать к озеру. Первую причину — увидеть чудо — уважительной считать нельзя.

Однако о чудесах. Они не так редки.

По словам Батурина, самое необъяснимое чудо состоит в том, что именно на этом острове были построены те фабрики, которые затем послужили прообразами для строителей во многих странах. Мы никогда не вспоминаем подробности, как бы ни были они поразительны. Нам достаточно бывает знания имени Джеймса Уатта и еще нескольких имен. Он сделал паузу, указав на раскрытую книгу, лежавшую на журнальном столике. Эту книгу, наверно, он читал в последние дни. Так я объяснил для себя причину его экскурса в историю туманного Альбиона.

Два с половиной века тому назад главным строителем британских дорог был некто Джон Меткаф, в молодости принимавший участие в шотландском походе под знаменами герцога Кумберлендского. Достоверно известно, что

родился он в 1717 году, что у него не было образования, позволявшего провести хотя бы самые простые расчеты. Казалось бы, карта или, на худой конец, эскиз незаменимы в таком деле. Но Джон Меткаф не пользовался ни картами, ни схемами, ни рисунками. По той причине, что был он совершенно слеп.

— Самое неподходящее дело для слепца — прокладывать трассы и руководить строительством мостов и дорог, — заметил я не без удивления.

— Тем не менее этот участник шотландской компании, авантюрист и торговец лошадьми, исходил долины и горы, придумал даже простой способ укрепления торфяников, и его нередко видели с посохом в руках в самых диких и недоступных местах, там, где не ступала нога человека. Не правда ли, фантастическая картина: слепец с посохом взбирается по горной круче, чтобы наметить маршрут, которым последуют за ним зрячие. И тот же слепец переходит болота, считавшиеся опасными, чтобы определить на двести лет вперед направление главных транспортных артерий Великобритании.

— Никогда бы не подумал...

— И я тоже. Не пора ли нам всем присмотреться к жизни, быть зорче к настоящему и внимательнее к прошлому? И я имею в виду не только этот остров.

— Объясни, как же этот Меткаф умудрялся все же строить дороги?

— Он не мог и сам этого объяснить. Готовил проекты и сметы, удерживал в памяти все характеристики местности, все цифры, которые являлись к нему непонятным образом, пока он бродил по взгорьям и долинам. А неграмотный Джемс Бриндли, под руководством которого проложили канал по акведуку? Этот знаменитый канал называется Ворслеевским. Он казался современникам восьмым чудом света. При Бриндли начали создавать и тот самый канал, который связывает Ирландское и Северное моря. Бриндли не успел увидеть завершения работ. Но все это лишь прелюдия к удивительной истории, которую мне удалось восстановить с мельчайшими подробностями. Представь себе, что индустрия, промышленность была некогда сродни магии. Вовсе не Англия ее родина. Тайные заводы и фабрики, дорог к которым никто не знал, издавна строились по указаниям неизвестных

мастеров или, пожалуй, мудрецов и тщательно охранялись. Это настоящая детективная история. Если хочешь, расскажу... Контрабандисты привозили в Англию шелковую пряжу. Одному англичанину пришла в голову мысль, что ручная пряжа должна была бы стоить по крайней мере в пять раз дороже. Может быть, это неведомые машины без участия людей выполняют тонкую работу так быстро, что их продукцию выгодно продавать по очень низкой цене? В лондонском кабаке один из контрабандистов проговорился о таких машинах. Их устройства он не знал. Одна из фабрик шелковой пряжи работала якобы в Ливорно, в Италии. Это было бы откровением, если бы в это можно было поверить: машина-то замсняяла пятьдесят человек. В то время! Собеседником контрабандиста оказался некто Джон Ломб. Листая потом старинные трактаты, он обнаружил описание прядильной машины в сочинении по механике, опубликованном в Падуе в 1621 году. Удивительная находка: выходило, что без малого сто лет назад люди знали уже тайну машинного прядения, и не только знали, но и написали об этом. Значит, такая машина могла работать и до выхода в свет падуанского трактата? Было над чем поломать голову любознательному англичанину. Поверь мне, эта тайна тогда казалась важнее эликсира бессмертия. Мы ведь давно привыкли к машинам, но к мысли о первой машине привыкнуть было трудно... В 1717 году Ломб отправился в Ливорно. Нечего было и думать проникнуть в здание фабрики, оно охранялось надежнее военного полигона нашего времени. Но были люди, которые имели туда доступ. Это священники. Представь себе, Ломбу удалось подкупить одного из патеров. Вскоре у него в руках оказались эскизы машины. Но оставлять их у себя — значило подвергаться смертельному риску самому и подвергать такому же риску священника. Ломб немедленно упаковал эскизы в партию шелка, предназначенного для отправки в Англию. Стоило это немалых денег, но цель оправдывает средства.

- Сегодня.
- Я помню.
- Пора собираться.
- Но я еще не совсем проснулся.
- Разрешаю спать в машине.
- А завтрак?
- Предусмотрено. Ты что, в самом деле раздумываешь, ехать или нет?
- Нет... Дай мне полчаса.
- Только двадцать минут. Жду в машине.
- Ладно.

Спорить о десяти лишних минутах, когда речь шла о десяти или двадцати пропавших годах! Однако в нашей памяти зияют иногда провалы в месяцы и годы, а короткие минуты незабываемы, волнуют нас, заставляют как бы снова и снова переживать их.

Шотландский феномен почти отождествляет время со сказочными персонажами — прием универсальный, хорошо знакомый по другим легендам и сказаниям. Но если на Шотландском нагорье действительно работает исстари удивительный механизм времени? Если здесь человек может пропасть, а потом вернуться — десять лет спустя? Или даже двадцать лет спустя? Объяснить это народные мудрецы не в состоянии. Их дело — сложить легенду. И пусть в ней будут названы виновники — эльфы и феи, заклинатели времени.

Шотландский феномен времени. Странно, что о нем никто не писал всерьез, как, например, о Бермудском треугольнике. Но он существует. Да, люди исчезали. Потом возвращались. Есть полярные сияния. Есть на земной поверхности аномалии и пересечения магнитных меридианов, пусть воображаемых. Есть жерла вулканов, есть гигантские вихри в океане. Есть разломы в земной коре. Есть даже естественный атомный реактор, который создан самой природой без участия человека. Есть и Шотландский феномен.

Пора задуматься над этим.

Есть над чем поломать голову, пока друг выжимает на спидометре сто тридцать без малого.

Заправочная станция. Батурии протянул открытку с

видом озера, открыл дверцу, отошел рассчитаться за бензин.

Оказалось, это не открытка. Просто любительский снимок. Несколько слов по-английски каллиграфическим почерком свидетельствовали, что снимок подарен Бату-рину Тони Кардью с дружескими чувствами и благодарностью за внимание к шотландским проблемам. Нас тряхнуло на грунтовой дороге, на которую мы вскоре свернули.

— Что это? — спросил я.

— Ты что, не видишь?

— Озеро, то самое.

— Да Присмотрись! Справа, видишь?

— Темное пятнышко. Голова тюленя. Впрочем, тюленей в шотландских озерах, кажется, не обнаружено. Прошу пояснить.

— Это водяной конь.

— Ну еще бы! Точнее, его визитная карточка. Не правда ли?

— Я не шучу.

— Да с чего бы нам обоим шутить на голодный желудок? Где спрятаны бутерброды в твоей колымаге?

— Открой эту дверцу.

— Любопытно. Ты производишь впечатление человека, который знает не так уж мало, но предпочитает отшучиваться. Если это водяной конь, то где же Море? И где дом Мак-Грегора?

— Слишком много ты сразу хочешь знать. Это действительно водяной конь. Реликт вроде Несси.

— Реликт? Из прошлого?

— Ну, если в этой стране люди возвращаются из небытия — нечасто, но бывает, — то почему бы разным крупным и мелким животным тоже не попытаться?..

— Я назвал это Шотландским феноменом. В применении к людям, которые хорошо чувствуют время.

— Животные, звери и птицы, наверное, тоже очень неплохо ощущают ход времени. А здесь, в Шотландии, эти ощущения иногда дают осечку.

— Орнитологам это неизвестно.

— Визитку водяного коня дарю тебе на память. Ты все-таки биолог, пригодится. А мне ни к чему. Если об этом напишет журналист, никто не поверит.

— Спасибо. Мне пришло в голову, что водяной конь

такая же жертва неравномерного хода времени, как и герои легенд... как Морег.

— Я тоже об этом думал. Он не причина, а спутник Шотландского феномена, так? Я правильно понял?

— Да. Он тоже вынырнул из неведомых глубин времени.

— Так же было с птицей, о которой ты рассказывал. Со скопой, так?

— Да, она исчезла, потом пару птиц выпустили здесь на волю. И она снова как бы вернулась на это нагорье.

— А почему ты не допускаешь, что у природы исстари есть механизм, который укрывает — правда, очень редко — и людей, и зверей, и птиц в складках времени? Это сказка, но только по форме. По сути я могу продолжить мысль, и ты поймешь. .

— Пойму. Но почему именно здесь?..

— А где же еще? Где еще так нещадно грабят гнезда редких птиц, дражайший орнитолог? Где преследуют оставшихся в живых лесных зверей? Где мы пока еще можем увидеть живого шотландца в его кильте, или, по-русски, юбке? Разве не север наиболее чувствителен к тем ударам, которые наносит природе человек? Разве не пятьсот лет надо, чтобы на месте гусеничных следов вездеходов, пропахавших девственные северные лесотундры, выросло хотя бы несколько кустов и карликовых деревьев? Ну, положим, здесь лесотундры нет, но земля чувствительна. Еще недавно, десять тысяч лет назад, здесь был лед, лед, один лед. Потом ледник начал таять, отступать на север.

— Шотландия ближе всего к густонаселенным районам. Точнее, к очень густонаселенным районам. Но то же происходит и в Амазонии, и в Марокко, везде, где человек воюет с природой...

— ...вместо того, чтобы заключить с ней союз.

Дом Мак-Грегора

А за стеклом машины — пустынные заросли вереска. Поля. За сосновой рощей, где деревья стояли ровными рядами, как на параде, открылась холмистая гряда. Зеленые холмы — и на них как бы наросты из серого камня. Это все, что осталось от безымянного старинного замка.

Как грустно!

А вот и озеро. Сначала — увидеть гнездовье.

Мы осторожно обошли стороной полузасохшее дерево, где устроила гнездо птичья чета. Я не хотел пугать скопу. Птиц лучше наблюдать издали, в бинокль: метод Денниса. Примерно одну пятую часть всех гнезд грабят любители птичьих яиц. Зачем они им? Для коллекции. Яйца красят в разные цвета. Об одной такой коллекции я рассказал Батурину: в ней было до семисот яиц редких и вымирающих птиц — настоящее кладбище, с точки зрения орнитолога. И когда орнитолог наблюдает птиц, лучше делать это с предосторожностями: если вас увидели у гнезда, то, вероятней всего, оно будет ограблено. Ведь профессиональные навыки специалиста по птицам оказывают пернатым в этом случае плохую услугу: простой коллекционер не скоро набредет сам на гнездо редкой птицы, а звук работающей кинокамеры привлекает внимание и как бы служит сигналом для браконьеров: живая редкость.

Я навсегда запомнил их расположение: три больших камня и внутри образованного ими треугольника — четыре камня поменьше. Неужели эти камни останутся здесь только для того, чтобы напоминать о прошлом, о Мореге, о Мак-Грегоре, о людях, ушедших в небытие?

О чем они мечтали? Что они любили?..

Морега. Несколько звуков. Имя вызывает щемящее чувство утраты, а вечером в отеле подкрадывалась тоска: неужели смысл жизни в этом бесконечном повторении ситуаций и случайностей, в беге времени, более однообразном, чем жужжание веретена?

Мы не нашли этих камней. Что бы это значило?

Свернули с тропы, едва заметной, заросшей жесткой травой. Спустились почти к самой воде. Темное зеркало. Тихо.

Слышно, как он дышит.

Легкий, но резкий толчок. Поворачиваю голову. Батурин как замороженный смотрит в ту сторону, где мы искали только что камни дома Мак-Грегора.

Выше нас, справа, легко, непринужденно шла девушка.

На ней была серая юбка с тонкой, едва намеченной клеткой, светлая кофта, шотландский берет. Я видел ее в профиль, когда она поравнялась с нами: зеленые глаза,

светлые брови, светлые волосы, юное пытлиное лицо — она словно всматривалась в даль, словно что-то искала.

Мы замерли. Я мог бы остановить ее, спросить, наконец, что она ищет. Я этого не сделал. Батуриин тоже. Она прошла мимо, едва удостоив нас взглядом. Вероятно, двое мужчин, глазающие на прохожих, не интересовали ее. Что же она искала?

Батуриин, осторожно ступая, неуверенно пошел за ней. Я двинул следом. Нам стала видна ее правая рука, которой она словно придерживала край светлой кофты. Но только это вовсе не край нарядной кофты... Я увидел букет ослепительно ярких белых цветов. Молча мы шли за ней, и я пытался сосчитать, сколько же цветов было в ее руке. С короткого стебля упала, сверкнув, радужная капля воды. Тонкий и вместе с тем пряный запах заставил меня дышать глубже, я слышал, как стучало сердце. Пять, шесть... Еще шаг. Семь, восемь... Два шага за ней. Десять! Десять — столько цветов было в ее руке.

Похожие ситуации, похожие случаи. Жизнь повторяется, давая время оглянуться назад, одаривая возможностью заглянуть в завтра. Но есть дни... есть минуты! Никакая сила их действительно не вернет. Для меня они как промельк света. Ничего особенного, как ни странно. Просто мгновенное впечатление от освещенной стены дома детства, воспоминание о пасмурном дне и прозрачном ручье, где всплеснула рыбина, о дымно-багряном закате московского предместья. Так было, так будет, пока я жив.

* * *

Я оказался впереди Батурина. Ее и меня разделяло сначала примерно тридцать шагов, теперь я был ближе. Что-то остановило меня. Может, волшебство иссякнет, как родник, если я подойду к ней? Тогда после двух-трех банальных реплик мне придется повернуть к машине, которая дожидалась нас у обочины, скрытой кустарником.

Впереди — серо-голубой, залитый солнцем холм. Где-то там, на его склоне, три больших камня недавно образовывали треугольник, и в нем было еще четыре камня — скромная память о доме Мак-Грегора. Она шла туда...

На мое плечо легла рука. Батуриин, не говоря ни слова,

стоял рядом. Мы смотрели ей вслед. Вдруг солнце рассыпало по озерной глади празднично-светлые пятна, которые с крутого берега, по которому вприпрыжку сбегала когда-то Морег, казались объемными, и походили они на крупные стеклянные бусины, ведь вода была сейчас как стекло. Многое стало видно и понятно нам в этот день.

Я догадывался, что должно произойти. Батурин, кажется, тоже. Его рука освободила мое плечо. Девушка скрылась за загравком холма. Я сделал тридцать осторожных шагов. Я надеялся снова увидеть три больших светлых камня и четыре камня поменьше. Она же не могла ошибиться, как это могло произойти с нами.

Вот та едва ощутимая грань, за которой открывается правда легенды, совсем особенная, ни на что не похожая правда!.. Еще три шага. И вместо старых, поросших серым мохом камней... там, впереди... крыльцо белого дома с двумя окошками. Черепичная крыша. Едва заметный голубоватый дым из трубы. И, едва ли на минуту задержавшись у крыльца, она одарила холм и вересковую пустошь повелевающим мановением руки, мимолетным взглядом, потом вошла в дом Мак-Грегора.

СОДЕРЖАНИЕ

К. Феоктистов. Заглядывать в будущее	5
--	---

Р а с с к а з ы

КРАСНЫЕ КОНИ	9
РЕКА МНЕ СКАЗАЛА	17
СТАРАЯ МОСКВА. Рассказ из будущего*	25
ЛАНДЫШИ	27
«МЫ ИГРАЛИ ПОД ТВОИМ ОКНОМ»	34
ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТЫ	45
Крылатый конь	—
Ураган	47
Размышления	50
Космическая бабочка	51
ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА*	53
ЧЕТЫРЕ СТЕБЛЯ ЦИКОРИЯ*	65
АЛЬКИН ЖУК	73
ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	80
Первый разговор о встречном времени	—
Так уходит мечта...	83
Два письма	86
Весенняя интермедия	88
Синегорск	94
ЧИТАТЕЛЬ	95
ТРЕТИЙ ТАЙМ	97
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ	100

Повести и легенды

ВСТРЕЧА В ЛОВЕЧЕ. <i>По следам древней легенды*</i>	111
ДАЛЕКАЯ АТЛАНТИДА. <i>Повесть*</i>	114
Рута	115
Путешествие Ману	118
Полеты над руинами	122
Великий морской змей	125
Черная статуэтка	130
«Читайте отчеты Фосетта...»	132
Снова Рута	137
Встреча	138
Каринто	143
Экспедиция Беррона	147
Диалог при свечах	151
Атлантида погибла летом!..	155
Антиразум: новые симптомы	160
На шоссе близ Боа-Виста	162
Сыны леопарда	164
Ночной электропоезд	165
ТЕНЬ В КРУГЕ. <i>Фантастическая повесть в письмах</i>	169
Письмо первое	—
Письмо второе	—
Письмо третье	170
Письмо четвертое	—
Письмо пятое	—
Письмо шестое	171
Письмо седьмое	—
Письмо восьмое	172
Письмо девятое	—
Письмо десятое	—
Письмо одиннадцатое	—
Письмо двенадцатое	173
Письмо тринадцатое	174
Письмо четырнадцатое	—
Письмо пятнадцатое	—
Письмо шестнадцатое	175
Письмо семнадцатое	176
Письмо восемнадцатое	177
Письмо девятнадцатое	178

Письмо двадцатое	180
Письмо двадцать первое	181
Письмо двадцать второе	183
Письмо двадцать третье	184
Письмо двадцать четвертое	185
Письмо двадцать пятое	186
Письмо двадцать шестое	188
Письмо двадцать седьмое	190
Письмо двадцать восьмое	191
Письмо двадцать девятое	192
Письмо тридцатое	193
Письмо тридцать первое	—
Запись в дневнике	—

ФЕИ СТАРОГО ЗАМКА. <i>По мотивам шотландской легенды</i> . .	196
Данвеган	—
Маргарет, Мэгги, Мэг	200
Нет ничего правдивее легенд	205
Интерлюдия в отеле	211
Солнечная дорога	213
МОРЕГ. <i>По мотивам шотландской легенды</i>	216
Озеро	—
Легенда	220
Зеленые человечки?..	224
День девятый	227
И снова к озеру	231
Дом Мак-Грегора	233